Тамара Иванченко

Голубые купола

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЛИТЕРАТУРНОГО ФОНДА РОССИИ
Донской писатель
РОСТОВ-НА-ДОНУ

2021 г.

ББК 96(2Рос-Рус)86
И-224

И-224 **Иванченко Т.А.**
ГОЛУБЫЕ КУПОЛА: — Ростов-на-Дону: Издательство «Донской писатель», 2021 г. — 120 с.

Об авторе:

Познакомились мы с Тамарой Иванченко в 2010 году на заседании Туапсинского ЛТО «Логос», куда нас с Галиной Студеникиной пригласила тогдашний его руководитель Елена Михайловна Запатрина, — с этим литературным объединением уже складывалась творческая дружба, которая продолжается и теперь.

Тамара Александровна заметно отличалась в лучшую сторону своей неординарной прозой и это было заметно с первого же взгляда на её сочинения.

Потом пошли публикации, в альманахе «Дон и Кубань», в журнале «ДОН_новый», появились собственные книги. Эта успешная творческая дорога и привела её в Ростовское региональное отделение Союза писателей России, где Тамара Иванченко была принята, как талантливый писатель.

Хотелось бы пожелать автору новой книги «Голубые купола» большого читательского успеха и счастливой судьбы.

Алексей Береговой, председатель Ростовского РО СП России.

ISBN 978-5-87612-207-9

16+

© Иванченко Т.А., 2021 г.
© ООО «Издательство «Донской писатель», 2021 г.

Посвящаю свою книгу моим детям: Владимиру и Валентине, а также внукам: Александру, Дмитрию и Игорю.

Есть множество теорий по воспитанию детей, но лучше воспользоваться только одной — сделать их счастливыми!

Всё во Вселенной под силу, если с ЛЮБОВЬЮ!

Тамара Иванченко

От автора

Откровенно говоря, я никогда не собиралась становиться писателем. Никогда не стояла передо мной подобная задача. Я ставлю для себя совсем другую цель — жить с любовью. Просыпаться утром со словами: «Жизнь, с добрым утром! Спасибо тебе! Я люблю тебя!» Засыпать вечером со словами: «Жизнь, спокойной ночи! Завтра встретимся! Я люблю тебя!» Погладить рукой цветок и сказать ему: «Какой ты очаровательный! Я люблю тебя!» Обнять на опушке леса ствол берёзы и сказать ей: «Какая ты сказочно красивая! Я люблю тебя!»

Всегда любить детей и внуков в любых жизненных ситуациях и постоянно говорить им: «Я люблю вас! Лучше вас никого нет на свете!»

Любви много не бывает. Её всегда мало. Любовь — это не только чувства, это ещё и огромная энергия. И вот силу, которую даёт любовь, переоценить нельзя. Её могущество! Её способность творить! С любовью можно создавать всё, и это всё будет получаться хорошо. Просто нужно искренне любить то, что ты делаешь. Любить своё дело! Любить всех причастных к твоему делу. Любить всех, кто есть в твоей жизни.

Работать с любовью, творить с любовью, жить с любовью — это так просто! Этому так легко научиться! Нужно только захотеть. А потом, энергия любви будет творить с вами и с вашей жизнью чудеса. Любите так, словно вам никогда не было больно.

«Я не верю в чудеса, но ищу чародея» — фраза из польского юмористического журнала «Пшекруй». Как часто в своей жизни мы ждём чуда, а столкнувшись с ним «нос к носу», всё равно в него не верим. Как прекрасен и чист ребёнок, который верит в бабу Ягу и гномов, в Кощея Бессмертного и Красную шапочку.

А вам не кажется странным прожитый день, события которого уже вроде бы были в вашей жизни? И не кажутся ли странными переплетения событий прошлого и настоящего? Как часто

мы встречаем в средствах массовой информации фразы: «А вы помните, ведь это в нашей жизни уже было…» или «Вспомните, всё это уже было…»

Всё, заложенное в прошлом, возвращается. Зло возвращается злом, а добро — добром.

Я возьму на себя такую смелость и предложу вам изменить вашу жизнь в лучшую сторону, чтобы зло, которое было у вас в прошлом, не возвращалось к вам бумерангом. Нужно крепко верить в то, что злоба никогда к вам не вернётся, а в награду за эту веру вы приобретёте то, во что верите.

Давайте верить — и чудеса будут сбываться.

«Чудеса — там, где в них верят, и чем больше верят, тем чаще они случаются». (Дени Дидро — французский философ-просветитель и писатель)

С уважением и со всей моей любовью к вам!
Тамара Иванченко

Орден Славы

Не смогу…
Вы простите, что я не герой,
Я и в детстве был хилым и слабым,
О войне пусть расскажет вам кто-то другой,
…ну и что, что три ордена Славы.
Юрий Соловьёв

Алексей Семёнович медленно поднимался по лестнице на второй этаж двухэтажного дома, где он проживал в коммунальной квартире с женой и тремя детьми. Семья занимала одну, но большую комнату. Во второй — меньшей, проживал молодой учитель музыки с матерью. Лена — жена Алексея, тоже работала учителем в школе. Это была служебная квартира для учителей. Кроме двух комнат в квартире была ещё общая кухня. Удобства на улице. Жили в тесноте, но дружно и весело.

Сегодня Алексей ушёл на охоту ещё до рассвета, а вернулся, когда на улице уже вечерело. Ноги гудели, ремни рюкзака и двуствольного ружья врезались в плечи, оттягивали их вниз. Из соседней по лестничной клетке квартиры доносилось пьяное мычание Михаила — своеобразное изображение пения, которое частенько перемешивалось отборным матом, а за ним слышались женские крики, визг и детский плач.

«Опять Мишка буянит», — вяло подумал Алексей, открывая дверь в свою квартиру. Силы покинули его. Он с трудом снял высокие болотные сапоги, расстегнул пояс-патронташ, на котором болтались три селезня. В кухне кружкой черпнул воду из ведра и шумно большими глотками с удовольствием выпил, задрав голову и двигая кадыком. Положил на табуретку уток и прошёл в комнату. Задвинул ногой под кровать рюкзак, ружьё и патронташ, не раздеваясь, рухнул на кровать и моментально уснул. Но что-то мешало ему спать, кто-то дёргал его за ноги и руки, крутил нос.

Алексей отбивался, отворачивался, потом лениво открыл глаза. Возле кровати стояла его маленькая дочка Тая и тянула за руку.

— Пап, а пап, ты принёс мне хлеб от зайчика? Куда ты его дел? Просыпайся! Где мой хлеб, который дал для меня зайчик?

Отец со сна непонимающе посмотрел на дочь, но та продолжала его теребить:

— Пап, ты видел зайчика? Он же всегда передаёт с тобой для меня хлеб. Его что, сегодня не было в лесу? Ты его, наверное, плохо звал?

Она наклонялась к его лицу, почти касаясь щеки, и вопросительно заглядывала в глаза. Наконец-то он окончательно проснулся, весело посмотрел на дочку, обнял её и притянул на кровать.

— А кто это тут дерётся? Кто мешает мне спать?

Он обнимал и щекотал её, а она, смеясь и отбиваясь, требовала дать ей хлеб от зайчика. Отец наконец-то сел, обвёл глазами комнату.

— А где мама и мальчики?

Дочка соскользнула с кровати и, словно не расслышав вопроса отца, снова спросила:

— Где хлеб от зайчика?!

Тайка надула губы, насупилась и смотрела исподлобья. Алексей рассмеялся, обняв дочь.

— Что ты, Таюшка, конечно, я видел зайчика. И он снова передал тебе в подарок хлеб.

Отец наклонился, достал из-под кровати рюкзак, а из него извлёк завёрнутый в газету кусочек хлеба.

— Держи, вот тебе хлеб от зайчика.

Тайка вся засияла от счастья, запрыгала, выхватила хлеб у отца и выбежала из комнаты.

На следующий день в семье был праздничный обед, вкусный и сытный — жаркое из дикой утки. По такому случаю были приглашены соседи: молодой учитель музыки Вася и его мама — тётя Паша. Обед закончился песнями. Соседи принесли с собой гитару, и после обеда Лена с Васей спели романсы. Часто на их концерты

собирались жители всего подъезда. Одни приходили просто послушать, другие иногда присоединялись к певцам.

Алексей не пел, потому что, как говорила жена: «Ему медведь наступил на ухо». Он вышел на улицу и сел на лавку. К подъезду, пошатываясь, шёл сосед Михаил. «Сейчас поднимется на второй этаж и испортит всем праздник»,— подумал Алексей и остановил Мишку вопросом:

— Как дела, сосед? По какому случаю спиртные вливания? Или так, от безделья?

— Почему это от безделья? Мне, штоль, делать нечего — от безделья пить? — обиделся Михаил. — Погодь, погодь! Ты сегодня календарный лист отрывал? Видал, какой сегодня день?

— Конечно, видал. Сегодня пятое мая 1955 года. И что? До девятого мая ещё четыре дня. А ты уже заранее празднуешь?

— Так девятое мая когда-сь ещё будет? Ты совсем, Семёныч, съехал с рельсов? Ты советский человек или не советский? Или заслали тебя немцы сюда шпиёном? Недаром возвернулся ты с войны, с нашей Великой Отечественной войны без документов. Завербовала, наверное, тебя немчура и заслала к нам в страну шпиёнить. Где прячешь рацию? Небось, по ночам строчишь им, фашистам?

— И что же это я строчу?

— А то и строчишь: сколь полей распахали, сколь зерна намолотили, сколь коров вырастили, сколь молока сдали государству. Немчуре, небось, всё надо знать об нас. Что бы прямо в наше нутро залезть и разрушить советскую жисть. Об этом ещё Карл Маркс предупреждал. Ты читал его великую книгу, «Капиталом» называется. Да отколь ты читать мог? Ты же шпиён.

— Что ты знаешь обо мне? Я всю войну прошёл. Начал службу в Монголии ещё в 1939 году, потом Финляндия, потом Украинский фронт.— Алексей вздохнул, махнул рукой.— Если бы не ранение, то и до Берлина бы дошёл, факт.

— Какой факт-то?! — язвительно прошипел Мишка. — И чо, что ранение? Я, накося, вот тоже ранен. — Он потряс в воздухе

культёй. — Но приехал, едрён батон, с документами и медалями, — распалялся Михаил, тыча в лицо Алексея обрубком руки.

— Да я-то что? Я ничего не имею против твоих медалей. Коль вручили, значит заслужил. Ты ж, поди, в одном госпитале лежал? После выписки тебе этот же госпиталь и выдал назад твои документы. А меня в бессознательном состоянии, как деревяшку, мыкали из одного госпиталя в другой сколь месяцев-то? Врачи уж в покойники включили. Говорили, что не жилец. А я, глянь, выжил. Правда не сам, а медсестра домой привезла полуживого. Вот так и растерялись все мои документы и медали где-то между госпиталями.

— Погодь-погодь, соседушка, а как же тебе военный билет выдали апосля войны, если ты всё потерял? — ехидно спросил Михаил.

— Да ёжкин ты кот, снова-здорово, сколь раз тебе можно талдычить одно и то же. Не с Луны же я свалился. Я родился и жил здесь, отсюда призывался, да и документы вон из госпиталя о ранении есть.

— Чиво?! Ты мне хошь десять раз рассказывай, а я не верю тебе. Вышел ты из моего доверия, Семёнович. Не ндравятся мне все эти твои враки. Жаль, НКВД нету на тебя.

— «Мели, Емеля, твоя неделя». Думай, чо хошь. Надоел ты мне.

Алексей хотел встать и уйти, но вспомнил, что нельзя оставлять соседа одного, так как он тут же поднимется на второй этаж и испортит вечер всем остальным.

— Мишка, хватит трепаться, докладывай, в честь какого праздника попойка сегодня? — спросил он сурово, но слово «праздник» бальзамом прошлось по сердцу соседа, и тот миролюбиво заулыбался.

— Ваще-то я докладать тебе не должон, но Семёнович, где-то ты уж больно умный, а где-то дурак дураком. Я ж вот тебе возвещаю, сегодня пятое мая 1955 года. Ну, об чём это говорит? — Михаил вопросительно посмотрел на собеседника. — Ты, поди,

точно сегодня листок от календаря не отрывал. А там написано, что пятого мая в 1818 году уродился Карл Маркс. Почитай, очень великий праздник! Вот я и принял на душу за его великое здравие. Хошь он и не тутошний, но всё одно, коммунист, поди.

— Мишка, хватит дудеть в уши всякую хреновину. Какое здравие? Карл Маркс давно умер. За упокой души нужно было пить.

— Рождение Карла Маркса — это тебе хреновина? Ну и пущай помёр, а зачем за упокой-то? Он, как и Ленин, будет жить вечно. Ну, точно, ты — вражина! Точно, немецкий шпиён, а он-то — немецкий коммунист. И ваще, валил бы ты… к едрёной бабушке.

Михаил вскочил с лавки, его глаза злобно таращились, он отчаянно жестикулировал. Причём длинный рукав рубашки на культе развивался в воздухе, как флаг. Слов у него не хватало, он нервно подпрыгнул, выругался матом и побежал вдоль улицы.

— Коммунист хренов, — в сердцах сказал Алексей, но тут же осёкся и посмотрел по сторонам. Никого поблизости не было. Уже совсем стемнело. Вечерняя прохлада залезла под рубашку и холодила спину. Он поёжился, потёр руки ладонями, зевнул и пошёл домой.

В кухне горел свет. Он прошёл в тёплое помещение. Жена сидела за столом и читала книгу.

— Гости разошлись? А где дети?

— Дети уже спят. Где ходишь?

— С Мишкой на улице толковали. Говорит, что я немецкий шпион.

— Не обращай внимания на этого алкаша.

Алексей сел на табурет рядом с женой и обнял её за плечи.

—Лёша, ты сможешь выступить в моём классе перед Днём Победы? Расскажешь детям о войне.

— Лена, я не смогу. Нервы ни к чёрту. Я сразу начну плакать. Такая тяжёлая ноша — воспоминания о войне. Не проси, не пойду. Много ветеранов, пусть придёт кто-то другой, бойкий на язык.

Муж помолчал и неожиданно спросил:

— А ты знаешь, какая самая дорогая награда для солдата? Нет, не только для солдата, для любого воина?

Жена отрицательно покачала головой, а потом сказала:

— По-моему, любая награда дорога. Медаль и орден нужно заслужить.

— Всё это так, но не совсем... Каждый воин особенно гордится орденом Славы. Подвиг на поле боя — это самое важное. И поверь, не каждый человек способен на него. Получить орден Славы — значит совершить личный подвиг. Одно дело — удачно участвовать в боевой операции вместе со взводом или ротой, и совсем другое дело — поднять солдат в атаку. Представь, все бойцы сидят в окопе, над головами свистят пули. Тела вросли в землю, как корни пустили, страшно даже шевельнуться. Звучит команда идти в атаку, а все продолжают сидеть в окопах, — страшно! И тут находится один смельчак, который встаёт во весь рост, высоко над головой поднимает автомат и кричит, срывающимся от хрипоты голосом: «Впе-ерё-ёд!! В а-ата-аку-у!!!!» И все, как один, повинуются этому кличу. Встают и с криками: «У-ура-а-а»!! — бегут, бегут на врага. Вот это и есть подвиг одного солдата.

Алексей задумался, потом резко повернулся к жене.

— А знаешь, Лена, ведь меня представили к ордену Славы. Но что-то не срослось, почему-то так и не вручили. Да-аа, война-а...

Он надолго замолчал, глядя куда-то в одну точку. Потом встал, посмотрел в недоверчивые глаза жены и с досадой выдавил:

— И ты не веришь? Жаль…

Жена с жалостью посмотрела на мужа. Они ещё какое-то время посидели молча, потом пошли спать. Оба долго ворочались на жаркой перине, оба не в состоянии были уснуть. Жена и верила, и не верила рассказу мужа об ордене. Ей по-женски было жаль его. А муж страдал от обиды. Ему было тяжело смотреть на таких же ветеранов, как он. Была одна разница между ними — они с наградами, а он нет. Потерялись где-то длинными дорогами войны. Потерялся и такой дорогой для него орден Славы.

Прошло много лет. Дети выросли. Развалилась страна, в которой родился, жил и которую защищал от врага командир пулемётного взвода пятьдесят седьмого танкового полка, старшина Иванов Алексей Семёнович. Он нет-нет и рассказывал о неполученном им ордене Славы. Кто-то сочувствовал, кто-то недоверчиво улыбался, а были и такие, кто издевался над откровениями ветерана.

Израненный боец прожил долго, закалилась плоть стужей и слякотью, дождями и ветрами на полях войны. Он пережил свою жену, похоронил сына. Юбилейные медали не носил никогда. Дорожил только одной медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг.», которую он получил в 1946 году, в празднование годовщины Победы.

Один год до Победы в письмах

Посвящается моему деду, Боднар Фёдору Игнатьевичу, участнику Великой Отечественной войны, кавалеру двух орденов Славы, ордена Красной Звезды, двух медалей «За отвагу» и других.

А так же посвящается моей бабушке, Боднар Анне Михайловне, — жене солдата.

В тот день, когда окончилась война
И все стволы палили в счёт салюта,
В тот час на торжестве была одна
Особая для наших душ минута.

В конце пути, в далёкой стороне,
Под гром пальбы прощались мы впервые
Со всеми, что погибли на войне,
Как с мёртвыми прощаются живые.

А.Т. Твардовский

Иногда наваливаются на плечи семейные проблемы, и кажется, что всё вокруг невыносимо плохо и, вообще, жизнь не удалась. От таких мыслей становится и грустно, и печально. И вот в такие-то невесёлые минуты ко мне на помощь приходят бабушка и дедушка. Да-да, именно они, несмотря на то, что их давно уже нет в живых. И это не мистика. Я достаю заветную коробку с семейным архивом, открываю её, и вместе с содержимым извлекается из коробки аромат давно минувших дней. Этот неповторимый, особенный запах, который всегда ощущается в залах музеев. Я перебираю старинные пожелтевшие, а иногда и прекрасно сохранившиеся фотографии. Всматриваюсь в знакомые и незнакомые лица моих предков, которые торжественно

позируют перед объективом фотоаппарата. Имена некоторых из них за давностью времени, к сожалению, стёрлись из памяти, а спросить уже не у кого.

Я перебираю письма, которые родственными невидимыми линиями связали Россию теперь уже с иностранными государствами — Беларусью и Украиной. Но из всех писем самое дорогое для меня — это переписка бабушки и дедушки в годы Великой Отечественной войны. Эти письма, пожелтевшие от времени, потёртые на сгибах и по периметру, написаны в основном химическим карандашом и некоторые уже плохо читаются. Они хранятся аккуратной стопкой в старинной, с кожаным переплётом тетради, словно ждут своего продолжения на чистых разлинованных листах.

Письма с войны, часто за неимением конвертов, складывались треугольниками и посылались незаклеенными, так как все они проходили военную цензуру. О военных действиях писать не разрешалось, поэтому в скупых письмах с фронта нередко было всего несколько строчек. А больше ничего и не нужно было родным, главное, что жив. Скупые строчки, но как они были дороги! Они были бесценны и для моей бабушки, которая и после возвращения мужа с войны продолжала хранить его письма, потом хранила их моя мама, а теперь эти письма хранятся у меня. Я люблю читать их и перечитывать, особенно в трудные жизненные моменты. Какими ничтожными и пустяшными кажутся мне мои проблемы по сравнению с теми испытаниями, которые пришлось пережить моим родным в годы войны.

Всё в жизни нужно соизмерять и оценивать в сравнении. С этой задачей прекрасно справляются военные письма, читая которые невольно отсеиваешь зёрна от плевел, отделяешь трудности от слабостей.

Я хочу рассказать об удивительных письмах с фронта моего деда, прошедшего тяжёлый путь войны до самого Берлина.

У моего дедушки было освобождение от воинской обязанности, но, получив похоронку на старшего сына в ноябре 1943, он

пошёл на фронт добровольцем и уже с января 1944 года воевал с фашистами.

Вот письмо, датированное 9 мая 1945 года: «Здравствуйте, родные! Прежде всего, разрешите всех вас поздравить с днём окончания войны и Победы! Теперь, в недалёком будущем, меня демобилизуют, и я возвращусь к вам, и будем продолжать мирную жизнь… Ваш отец и муж». День ПОБЕДЫ! Торжествует каждая клеточка организма, поэтому письмо резко отличается от всех остальных. Буквы крупные, размашистые, с вензелями. Вот оно — ликование каждого слова, каждой строчки. И в конце письма, как вздох облегчения: «Будьте здоровы и теперь ждите».

Но война не отпускает.

В письме от 27 мая 1945 года дед пишет: «Посылаю фотокарточку и благодарность тов. Сталина за военные действия»; «Об отпуске домой все замолчали — прекратились разговоры и о назначениях сроков, но «живая вода берега сносит…», и скоро нам, старым, скажут: «По домам». Живу надеждой на скорое с вами свидание». В этом же письме трогательные до боли подробные описания мирной жизни, от которых он, солдат, за долгие дни и месяцы войны отвык. Он перечисляет, как что-то фантастическое, нереальное, появившееся в его жизни: «…в выходной — воскресенье можно посмотреть на футбольный матч, …, послушать радио, граммофон, почитать газету, книгу, …, и, наконец, можешь подойти к почтовому столу, взять конверт, бумагу и написать письмо на Родину из далёкой Германии, всем ненавистной. …живу надеждой на скорое с вами свидание».

Уже закончившаяся война всё держит в своих объятиях солдата. И домой летят письма от 06.06.45, 12.06.45, 20.06.45 года. «Работы с переходом на мирную жизнь стало столько, что, право слово, некогда и черкнуть вам. Вчера было начал писать и, не дописав даже первого слова, прервали — и так до сегодняшнего дня. Сейчас, окончил одну срочную работу, а на очереди другая, но, пользуюсь случаем и пишу вам пару слов, …что на днях все вместе выезжаем с Эльбы в неизвестном направлении».

В каждом письме стоит штамп «Проверено военной цензурой», а поэтому и пишет мой дедушка скупое слово «работа», а какая именно деятельность стоит за этим мистическим словом, теперь уже никогда не узнать. В другом письме снова читаю: «Работы перед концом очень много и письма вовремя черкнуть некогда, пишу уже в сумерках, но надеюсь, что скоро-скоро рассчитаюсь со службой. … за работой не замечаешь, как проходят дни, а без работы они казались бы очень длинными. Когда буду ехать и как, не знаю, но чувствую, что скоро». Томительное ожидание покинуть чужую землю длится невыносимо долго. «Тяжело на чужой земле, домой так бы и улетел, ничто из окружающего не интересует».

Но до освободительного, торжественного дня Победы были долгие и трудные дороги войны, которые скупыми фразами едва угадываются в письмах деда. Всего в одном из очень немногих писем, датированном 23.04.45 года, он описывает военные действия: «…В данный момент нахожусь в тридцати километрах от Берлина, но из сводки информбюро известно, что наш фронт уже взял 15 пригородов Берлина севернее нашего направления. На днях мы тоже должны быть в Берлине, несмотря на сопротивление, которое, конечно, по сравнению с нашей техникой почти ничто, но всё-таки сопротивление и требует осторожного продвижения с боями…»

В предыдущем письме от 15.04.45 года дед описывает короткую передышку между боями: «Сегодня у нас выходной день — приводим себя в полный порядок, по-видимому, завтра или на днях двинемся в путь, так что, возможно, случится перерыв в поступлении от меня писем».

А в письме от 20.03.45 года: «…посылаю благодарность тов. Сталина за Познань…».

А вот удивительные строки об отношении солдата к получаемым письмам: «Сегодня получил от тебя два письма. В одном из писем ты выражаешься: «Может быть, тебе некогда читать наши письма…». Конечно, тебе трудно представить мою повсед-

невную жизнь даже в том случае, если я описывал её в пределах возможного, но, всё ж таки, представь себе, что на чтение письма время у солдата в любых условиях всегда найдётся, было бы оно доставлено, а для доставки нет преград и во время каких бы то ни было боёв. Полученное письмо в самые напряжённые моменты, кроме дорогой вести от родных, которые в такие минуты быстро перебираются в памяти, вспоминается всё прошедшее, кажущееся очень хорошим промежутком времени. Всё это повышает дух и родит надежду на сохранность жизни, которая должна будет послужить разрешению задуманных задач, как общественного, так и семейного характера. О них я когда-нибудь напишу тебе, они, возможно, осуществимы. Если говорить об ответе, то не всегда он возможен тут же по получении письма, но в течение одних-двух суток время найдётся при любых условиях. Но хватит чепуху писать, а на серьёзное и места нет, да и не знаешь, что к серьёзному отнести, кроме жив, здоров, того и вам желаю, ибо только от этого зависит, как я думаю, наше благополучное существование».

Удивительное письмо, просто захватывает дух. Какая поддержка от бойца в тыл родным, какая благодарность за письма, которые посылали ему близкие!

Читаю несколько писем, где дед всего в нескольких словах пишет о себе. Примерно так: «О себе писать нечего…», а всё больше спрашивал о житье-бытье родных.

Но вот письмо от 18.11.44 года, явно испачканное кровью: «Последние дни были на работе с утра до ночи, а поэтому написать вам письмо не было времени». Остаётся только догадываться, что шли бои, поэтому писать было некогда. А в конце письма скромная запись: «Решил просто для интереса послать половинку нашей газеты, в которой, между прочим, вы найдёте статейку и обо мне как воине Отечественной войны. Посылаю её не для того, чтобы похвастаться, а для того, чтоб вы обо мне узнали словами других то, о чём я не писал».

И снова скупые строчки с фронта: «Живу по-старому, если не считать, что перешли на новое место километров на пять и сегодня занимались постройкой жилья в окружающей местности. Сейчас сижу в землянке на нарах, приспособив планшетку на коленях, и пишу вам несколько слов».

В письме от 24.09.44 года дед описывает мужество и стойкость женщин, оставшихся в тылу без мужской помощи. «Получил от вас письмо, из которого узнал много новостей о вашей жизни: картошку в поле выкопали, просо намолотили, кукурузу «нажеребили», тыкву собрали, свёклу накопали, … состояние пчёл и скота». Со всем этим хозяйством управлялись две женщины — жена и дочь.

В письме за 08.09.44 года: «Вчера послал вам письмо, а сегодня и не думал писать, но получил благодарность Верховного Главнокомандующего, Маршала Советского Союза тов. Сталина и пересылаю её домой».

А вот строчки, написанные после ранения, письмо от 31.08.44 года: «Из госпиталя выписали, направляюсь в свою часть. По обстановке видно, что война должна скоро кончиться, немчуру жмут со всех сторон, а он всё ещё огрызается, как зверюга, но как ни огрызайся, а перевес на стороне нашего Союза очевиден».

В предыдущем письме из госпиталя дед пишет: «У вас, видимо, самый разгар уборки урожая, а я помочь вам ничем не могу, т.к. очень далеко от вас. Люблин». Далее дед, по-видимому, «укоряет» свою жену за сетования о бытовых трудностях: «Сейчас мне кажется, что как бы трудно и тяжело в работе ни было, но если б я находился дома, то не сетовал бы на трудности. В данное время трудно всем, но здесь, кроме трудностей, многим, конечно, не всем, ежеминутно приходится думать, что вот-вот доживаю последний час или последнюю минуту, такие моменты готов променять на любые трудности обыденной жизни».

Письмо от 23.08.44 г: «Фашистский зверь под натиском наших доблестных Армейцев поспешно отступает, и опустошать местность, как раньше он делал, не успевает, но жителей нет. Ве-

роятно, кого-то фашисты угнали, кто-то прячется в лесах, но по приходу наших войск, возвращаются в свои хаты…»

Жизнь от письма до письма — и на фронте, и в тылу. Письма спасали и бойцов, и родных, и близких. Они помогали и жить, и воевать, и надеяться. Дедушка всегда знал точное число дней, в которые он не получал писем от близких. «Писем от вас нет уже семь дней, видимо, где-нибудь залеживаются, но о себе считаю нужным сообщить через определённый промежуток времени и дать сигнал о жизни…»

Как приятно читать в письме от 20.06.44 года, очень сентиментальном по своему содержанию, что война, по своей сути мерзкая и уродливая, не смогла сломить и ожесточить чистые души солдат: «Вчера передвинулись на новое место километров на семь, при отходе все прощались с лесной птичкой, которая на маленькой ели как раз перед нашим шатром свила гнездо, нанесла яичек и сидела на них. Её поили и кормили всей ротой. Все заглядывали к ней и оберегали, наказывая друг другу не трогать птичку, ею все радовались, но пришлось покинуть». Письмо же

Боднар Федор Игнатьевич и Боднар Анна Михайловна

это заканчивается такими словами: «Проклятому фашизму быть битому в собственной берлоге…»

В предыдущем письме дед описывает, что оставляет после себя поверженный и бежавший враг: «В этой местности, где я нахожусь, немцы перед отходом сожгли всё дотла, одни печи с трубами торчат. Жителей совсем нет».

Вот очень интересное письмо, в котором на одной странице пишет дедушка к бабушке, а перевернув лист на другую сторону, находишь письмо бабушки к дедушке. Благодаря этому случайному факту читаю бабушкино письмо: «Эх, Федя, хотелось бы много-много тебе рассказать, но разве в письме всё опишешь? Одно только скажу, что без тебя нет мне моральной поддержки. Ну, будем надеяться, что скоро ты будешь с нами. И ты в это верь! Обязательно верь!» Письмо датировано 05.06.44 года.

21.06.44 год: «Горе, принесённое нам проклятым гитлеризмом, должно быть возмещено и будет возмещено. Иначе не будет сердечного успокоения и удовлетворения…»

На этом я заканчиваю экскурс по фронтовым письмам моего деда за год до Победы, до Великой Победы, в копилке которой есть и частичка «работы» моего деда, который об этом написал так: «По истечении некоторого срока стажировки и отзыва командира роты могут присвоить звание, которое на старости лет меня не так-то прельщает, но если это нужно и если это внесёт крупицу в мощь нашей армии, которая необходима для скорейшего разгрома распроклятого фашизма, то не приходится считаться с личными желаниями, а подчиниться распоряжениям и приказам, и выполнять службу честно и добросовестно, чтоб и в военном деле принести посильную помощь».

И всё же закончить своё повествование мне хочется фразой из победного майского письма 1945 года: «Пришёл конец войне, и, вероятно, скоро я вернусь домой, и тебе легче будет. Всё, о чём ты беспокоилась, разрешим на месте вдвоем».

Я верю, что эти письма, написанные любимому человеку в экстремальной жизненной ситуации, а по своему содержанию

очень искренние, правдивые и добрые, содержат в себе большой энергетический потенциал. Поэтому я уверена, что они смогут согреть не только мою душу, а и всех тех, кто каким-либо образом к ним прикоснётся.

Приношу глубочайшую признательность бабушке и маме за бережную сохранность бесценных писем с фронта. И чем дальше история отодвигает от нас годы Великой Отечественной войны, тем важнее письма с фронта для новых поколений.

Новая жизнь командира

Посвящается моему отцу, инвалиду Великой Отечественной войны, командиру пулемётного взвода Иванову Александру Степановичу.

Сороковые, роковые,
Свинцовые, пороховые…
Война гуляет по России,
А мы такие молодые!
Д. Самойлов

Есть такая поговорка: «Скрипучее дерево живет долго», — это про моего отца. Несмотря на раны, полученные в Великой Отечественной войне, и инвалидность, мой отец прожил долгую жизнь. Ему было восемьдесят лет, когда он умер. Он пережил своего брата и сестру, на десять лет пережил свою жену.

В его жизни было много всяких событий: и хороших, и плохих. Война стала неотъемлемой частью его юности, а стало быть, и всей жизни. А ведь юность никогда не забывается. Отец был интересным и талантливым рассказчиком.

Я написала рассказ «Новая жизнь командира», опираясь на собственную память, удерживающую значительную часть повествований отца о войне.

Шурка очнулся от невыносимой боли в голове, с трудом открыл глаза. Было темно и... тихо. Сильно хотелось пить. Совсем рядом кто-то глухо стонал. «Наверное, раненый», — подумал Шурка.

Боль в голове мешала сосредоточиться, ныла затекшая спина, он хотел пошевелиться, но тело его не слушалось. Почему-то сильно пахло лекарством, и этот запах назойливо лез в горло и

вызывал тошноту. «Идёт бой, почему так тихо?» — думал Шурка. Он не понимал, почему он лежит и не может двигаться, почему вокруг темно и тихо. Только что всё гремело вокруг и от взрывов закладывало уши. Мысли путались в его болящей голове, рассыпаясь на отдельные отрывки, не имеющие логической последовательности.

«Я убит?» — ужасом пронеслось в голове. От этой мысли ком сдавил горло. Стало душно. Шурка закрыл глаза. Мыслей уже не было, только бездонная пустота. Голова кружилась и была мутная, как после хорошей пьянки. В ушах шумело, и он потерял сознание.

Сколько времени он так пролежал, неизвестно, но когда снова открыл глаза, то прямо перед собой увидел потолок с одиноко висевшей посредине лампочкой. Опустив взгляд ниже, Шурка увидел большое окно, через которое в комнату пробивался едва различимый голубоватый свет, который, проникая всё дальше в глубину комнаты, окрашивал воздух голубоватой дымкой.

«Светает», — мельком заметил Шурка.

Он хотел поднять голову, чтобы осмотреться, но она почему-то не поднималась, словно приколоченная гвоздями. Руки и ноги не шевелились, он их и не чувствовал, как будто бы их и не было вовсе. Неподалеку кто-то застонал. Шурка хотел крикнуть, позвать на помощь, но издал только хриплый звук, похожий на рычание. Испугавшись собственного голоса, он замолчал. В отчаянии повел глазами по сторонам, чтобы хоть кого-то увидеть из тех, кто должен помочь ему. Его лихорадочный взгляд наткнулся на стены большой комнаты, когда-то выкрашенные белой известью, а теперь зияющие коричневыми проплешинами из-за осыпавшейся и вытертой побелки. Слегка приподняв голову, он увидел, что вся комната заставлена плотными рядами коек, на которых лежали перевязанные бинтами люди.

«Госпиталь», — догадался Шурка. Вот откуда этот назойливый запах лекарства, который уже давно мучил его. — «Ранен», — молнией мелькнула мысль.

Оттого, что он находится в госпитале, что вокруг него есть люди, они к нему обязательно подойдут, и он не останется лежать в этом жутком одиночестве, Шурке стало легче.

Так, успокоив сам себя, он ещё раз обвёл глазами комнату. Вокруг стало достаточно светло, и лишь золотистые следы солнечных лучей на стенах напоминали о рассвете. «Начинается новый день», — отметил Шурка.

Он лежал на кровати, укрытый серым солдатским одеялом, недвижимый и бессловесный. Его блуждающий взгляд снова наткнулся на знакомую лампочку. Она была засижена мухами и покрыта пылью.

Шурка старался ни о чем не думать. Так будет легче, решил он. Но ничего не думать не получалось. Волной нахлынули воспоминания о последнем бое.

Он вспомнил и этот день, и свист пуль, и грохот от рвущих землю взрывов. В одно мгновение воспоминание пронеслось во всё ещё болевшей Шуркиной голове. Он вспомнил, как в окоп, где находился его взвод, упал снаряд. Совсем рядом, только протяни руку. Взрыв болью пронзил уши, ослепил глаза. Горячий поток воздуха обжёг лицо и швырнул Шурку, точно щепку, высоко вверх. Всего один миг, но он успел увидеть, как вместе с ним поднялись в воздух земля, орудия, фрагменты человеческих тел. Всё произошло так быстро, он действительно только увидел и не успел даже испугаться, а потом …, что было потом, он уже ничего не помнил.

Шурка лежал, смотрел в потолок невидящими глазами, и запоздалый страх сжимал молодое сердце, а щеки обжигали молчаливые слёзы. Шурка плакал не столько от нахлынувших на него воспоминаний о прошедшем бое, сколько от своей обречённости. Он уже понял, что ранен, но неподвижность тела пугала его, вызывала безысходную горечь.

«Как же я вернусь домой неподвижным бревном? Кому я буду нужен?» Шурка лежал и плакал о своей загубленной юности, о жизни, которая только началась, но уже, как он думал, закончи-

лась. Он ещё не знал, что очень многие не вернулись после того боя. Ему повезло — он остался жив. Но осколок от взорвавшегося в окопе снаряда, пробив каску, крепко засел у него голове.

Он не знал и того, что от ранения потерял сознание и что земля, поднятая вместе с ним в небо, рухнула назад и засыпала его в окопе. Она словно похоронила израненное, истекающее кровью, но еще живое тело бойца. Только после боя его вытащили из земли и отправили в госпиталь.

Обессилив от слёз, Шурка начал рассуждать: «Скорее бы уже утро. Проснутся люди, будут ходить, разговаривать».

Он не знал, что уже несколько недель борется за жизнь. Не знал, что даже врачи списали его в мертвые. Но сражаться и бороться Шурке было не привыкать.

Война для него началась еще в 1940 году на финской земле. Туда перебросили часть, в которой он проходил срочную службу. Уже пять лет он беспрерывно воюет.

Спустя время Шурка узнает о том, что его, полуживого, перевозили из госпиталя в госпиталь всё дальше и дальше от линии фронта, всё ближе и ближе к родной земле.

И вот, наконец, после стольких бессознательных дней, Шурка очнулся. Только что ему хотелось, чтобы проснулись люди, чтобы увидели его страдания, подошли к нему, пожалели или просто поговорили. Теперь он никого не хотел видеть.

Эта большая, с облезлыми стенами комната, и эта пыльная лампочка раздражали его. Шурка обречённо закрыл глаза. Жить не хотелось.

— Что, очнулся, соколик? Значит, будешь жить, — внезапно услышал он возле своей кровати приятный женский голос с чуть заметной хрипотцой.

От неожиданности он вздрогнул.

Увлёкшись своими печальными думами о жизни и смерти, он не заметил, как к нему подошла средних лет женщина в белом стареньком халате и белой косынке, из-под которой смешно выбивались колечки волос с проседью.

Она склонилась над Шуркой, поправила сбившееся одеяло, обдав его обволакивающим, чарующим запахом женщины, нет, не запахом мамы, с детства знакомым, а другим, ещё не знакомым ему запахом чужой женщины, волнующим своей неизвестностью, а потому притягивающим. В этот запах удивительным образом вплетались запах мыла и лекарства, запах свежести и йода. От нахлынувшего волнения, он зажмурился.

Нет не эта, уже немолодая женщина, хотя еще достаточно привлекательная, вызвала бурю волнения в душе Шурки, а именно запах, обдавший его волнами вместе с размеренно и заботливо двигавшимися руками. Ему казалось, что этот запах исходит откуда-то оттуда, из далекого прошлого. Он воспринимался как символ жизни, от которой он отвык.

А женщина, не замечая Шуркиного смятения, продолжала говорить своим хрипловатым, воркующим голосом, поправляя подушку:

— Ну вот, а врачи утверждали, что ты — не жилец. Ошибались они. Все ошибаются, на то мы и люди, чтобы ошибаться, — медленно и тихо, почти шёпотом приговаривала неожиданная гостья, как бы оправдывая неутешительный диагноз врачей.

Шурка оправился от волнения, реальность постепенно вернулась к нему, и он стал прислушиваться к словам спасительницы. Немногое, что он мог ещё делать — это смотреть, слушать и думать. «Хоть это не отняла у меня проклятая война», — рассудил он с ненавистью.

— Вот сделали тебе операцию, вытащили осколок из головы. Теперь, соколик, пойдешь на поправку. Поставим тебя на ноги.

После слов «поставим тебя на ноги» глаза у Шурки дрогнули. Он с удивлением и интересом посмотрел на незнакомку в белом халате, она странным образом влекла к себе необъяснимой и пока не понятой им силой, её воркующий и завораживающий голос окутывал его сознание почти маминым теплом и нежностью.

— Да, да, не удивляйся, — заметив немой вопрос в глазах собеседника, продолжала она. — Поставим на ноги. Главное, нужно в это верить. Будешь верить, всего добьёшься, а не будешь верить, так и останешься лежать деревяшкой.

Так начался новый день и новая жизнь для Шурки.

Бой, в котором он был ранен, прервал привычную военную жизнь, и она, как маленькая речушка, наткнувшаяся на преграду, остановилась, замерла, как бы раздумывая, куда пробивать новое русло, чтобы снова течь и течь, ускоряя свой бег.

Пошли нескончаемо долгие дни лечения. В госпитале он встретил и окончание войны.

Женщина, которая подошла к нему в самый тяжелый миг отчаяния и которая вселила в него веру в выздоровление, стала для Шурки поистине добрым ангелом. Она была медицинской сестрой, и звали её странным именем — Изольда Карловна. В госпитале называли её еврейкой. Она прониклась жалостью к молодому парализованному пареньку и окружила его особенной материнской заботой. Приносила из дома и стелила ему чистую постель, подкармливала домашней едой. Делала для него всё, чтобы поставить на ноги. И ведь поставила же! Домой он приехал на своих ногах. К тому времени его мама переехала жить в другое село к дочери, у которой погиб на войне муж.

В этом-то селе, сама ещё не зная и не ведая того, уже ждала его черноволосая красавица украинка, молодая учительница истории с красивым именем Евгения. И потом уже она будет долгие месяцы учить его разговаривать. У них появятся трое детей — два сына и дочь. И потечёт жизнь дальше и дальше в заботах, в труде, в радости и горе.

Но через всю жизнь Шурка пронесёт в сердце благодарность медсестре со странным именем Изольда Карловна, которая искренне и от чистого сердца подарила ему новую жизнь и новое имя. В госпитале, с её лёгкой руки, его стали называть Сашей. Позже для односельчан он станет Александром Степановичем или просто Степановичем.

Начнётся для бывшего командира пулемётного взвода новая жизнь с молодой женой, в новом селе и с новым именем. Больше никто и никогда не называл его Шуркой. И только для мамы, его старенькой мамы, он так и останется Шуркой. И это имя звучало теперь, как отголосок боя, который изменил его жизнь.

Вот только закончившаяся война так и не отпустит своего бывшего воина и будет приходить к нему по ночам в кошмарных снах, в которых он до конца своей жизни останется воином.

Но это всего лишь сны, которые заканчиваются с рассветом…

Иванов Александр Степанович и Иванова Евгения Федоровна

Борщ с пампушками

Посвящается фельдшеру сельской амбулатории Тимофеенко А.С.

История — это не учительница, а надзирательница: она ничему не учит, но сурово наказывает за незнание уроков.

В.О. Ключевский

— Один, два, три, ... — Ольга вслух считала капли, которые, падая из пузырька в стакан, наполняли комнату резким запахом лекарства. Комната была тесная, вытянутая, как пенал, и вся заставлена старой мебелью.

— Хватит! Отравить, что ли, хочешь? — послышался слабый, но с властными нотками го лос. Он принадлежал маленькой, очень худой старушке, которая лежала на кровати, почти невидимая среди одеял и подушек.

— Да что ты, Зигмундовна, это же валерьянка. Разве можно ею отравиться? Всего-то и накапала двадцать пять капель. Ты лучше выпей и рассказывай, что дальше-то было, — торопливо говорила Ольга, приподнимая голову больной и поднося стакан к впалому, морщинистому рту. Выпив лекарство, Зигмундовна поморщилась и со вздохом снова легла на надоевшую, ненавистную подушку.

— Хоть бы подушку взбила, как на камне лежу, — недовольно бурчала она, но тут же сердитым взглядом остановила Ольгу, склонившуюся над ней.

— Ладно, слушай дальше. Жили мы тогда на Украине, в Полтаве. Это было еще до войны. Отец работал зубным техником. Мне, девчонке, тогда казалось, что хорошо мы жили, не голодали. Всегда в доме была еда. Мне покупали красивые платья и туфли.

Помню, мама была молодая и очень красивая. Всегда от неё хорошо пахло духами, — я этот запах запомнила. И ещё помню, что она вкусно готовила. Никогда не забуду её борщ с пампушками. У меня такой не получается, как ни стараюсь.

Зигмундовна замолчала, её белая костлявая рука то поднималась, то опускалась, будто жестикулируя. Глаза внимательно смотрели на стену, словно считывая с неё текст. Губы безмолвно шевелились, казалось, что она продолжает говорить неслышными словами.

Ольга поправила одеяло в ногах больной и нетерпеливо спросила:

— А дальше-то что?

— А дальше что? — тихо повторила вопрос рассказчица и, снова помолчав, продолжила. — У моего отца был родной брат, жил в Польше. Мама-то была украинка, местная, а отец после революции приехал на Украину из Польши. Уж я и не знаю, зачем и почему он приехал? Мне, ребёнку, такие вопросы и не приходили в голову. А теперь и спросить-то не у кого. Отец рассказывал, что кроме брата у него больше нет родных. Я даже имя брата запомнила — Милош, Ми-и-и-лош, — растягивая буквы и наслаждаясь звуками имени, повторила Зигмундовна. Но блаженство на лице неожиданно сменилось злостью. Черты лица из округлых стали резкими и морщинистыми.

Ольга замерла, боясь потревожить разволновавшуюся рассказчицу. Отведя взгляд от больной, она увидела яркие лучи солнца, которые проникали через тюлевую занавеску из небольшого окна за спинкой кровати. Эти лучи, казалось, гладили и обнимали старую женщину, играя в её седых кудряшках. Но, коснувшись мутных, неопределённого цвета глаз старушки, моментально гасли, словно стыдясь своей яркости и весёлости.

— Да... — продолжала Зигмундовна. — Этот брат, с красивым именем Милош, и стал виной нашего несчастья…

— Как это? — прервала рассказ Ольга. — Как единственный брат может стать причиной несчастья? Тем более, проживая в Польше?

Зигмундовна посмотрела на Ольгу и выдавила вздох из глубины груди.

— Ольга, вам, теперешним, не понять! Времена-то какие были? Я впервые обо всём этом рассказываю. Никогда и никому ни слова, даже мужу и детям.

— А почему, Зигмундовна?

— Боялась. Да и не хотела осложнять им жизнь.

— Да чем осложнять-то? Расскажи толком. Что-то ты всё вокруг да около... Надумала рассказать, так рассказывай всё...

Зигмундовна снова вздохнула и тяжело, почти с надрывом, прокричала:

— Письма, проклятые письма! Переписывался отец со своим братом! Письма за границу и обратно в те-то годы? Помню, мама говорила, что отца вызывали в какие-то органы, предупреждали, запрещали писать в Польшу. Но отец никого не слушал и продолжал переписку со своим Милошем. Это я теперь уже понимаю, вызывали его, скорее всего, в НКВД. Отец не хотел потерять связь с единственным родственником. Да и что же в этом плохого? Что же плохого в письме к брату? Что плохого?!

Зигмундовна задрала голову и спрашивала кого-то там наверху, спрятавшегося среди окрашенных досок потолка. Не получив ответа, рассказчица пустыми глазами посмотрела на Ольгу.

— Письма, эти глупые бумажки, всего лишь бумажки уничтожили моих родителей.

Широко открытые глаза Зигмундовны наполнились слезами, она не вытирала их, и крупные слёзы, как градины, скатывались с морщинистых щёк на подушку. Она долго и беззвучно плакала. Очевидно, жизнь научила её так плакать, чтобы никто не увидел, не услышал и ничего не понял.

Ольга осторожно спросила:

— Что же случилось с родителями?

— Что случилось?! — прокричала она в ответ. — А что могло случиться?.. — ответила вопросом на вопрос. — Пришли ночью, когда мы все спали, и забрали моего отца. Я хорошо помню ту

ночь. Я проснулась от громких чужих голосов. Когда вышла в зал, то увидела бледного сгорбившегося отца, сидевшего на стуле. Он показался мне очень маленьким и жалким. Мама в ночной рубашке стояла, прислонившись к стене, и тихо плакала, закрыв лицо руками. Двое мужчин в форме что-то искали в шкафу и в комоде, выкидывая вещи прямо на пол. Помню, что сильно испугалась и кинулась к матери, обхватив её руками. Она не отстраняла меня и не успокаивала. Казалось, что она и не заметила моё присутствие. Потом папу увели. Мы с мамой остались вдвоём.

Зигмундовна замолчала, отвернулась к стене, её худое тело вздрагивало от сдерживаемых рыданий. Сейчас она была похожа на ребёнка, которому сделали больно, смертельно обидели и... не пожалели. Ольга, потрясённая рассказом соседки молчала, боясь потревожить тишину.

— Через несколько дней, тоже ночью, пришли и забрали маму, — неожиданно быстро и тихо сказала рассказчица. — Больше я их никогда не видела. Так я стала сиротой. Родственников, которые могли бы меня забрать, не было. И меня определили в детский дом. Закончилась моя самая счастливая часть жизни, — жёстко и с горечью сказала Зигмундовна, размазывая по щекам слёзы.

— А что же потом? Как ты жила потом?

— Привыкнуть к детскому дому после жизни в семье было трудно. Но воспитатели были хорошие и к детям относились неплохо. Правда, говорить о родителях там запрещалось. Дети ничего не рассказывал о прежней жизни, — о жизни до детского дома. То ли опасались, то ли не хотели. Я тоже никому не говорила о родителях, о письмах. Я боялась, а вдруг и меня заберут в неизвестность. И никто на белом свете не будет знать, где я. Сгину, как и мои родители. Вот так всю жизнь и молчу.

Рассказчица затихла, потом звонким голосом попросила ещё порцию валерьянки и уже спокойно продолжала:

— Постепенно я привыкла к детскому дому. А потом определили меня в медицинское училище.

И вдруг изменившимся голосом — очень торжественно и с пафосом сказала: «Слава товарищу Сталину!»

Ольга подпрыгнула на стуле и с негодованием выпалила:

— Зигмундовна, ты в своём уме?! Какая же «слава Сталину», если по его вине ты осталась сиротой? По его вине погибли твои родители. Как ты можешь?!

— Ничего ты не понимаешь, Ольга. Меня Сталин не оставил на улице умирать, меня Сталин выучил, дал мне профессию. Всё благодаря Сталину!

Ольга не могла остановиться, всё в ней кипело.

— Ты не права! Ты предаёшь память своих родителей! Они этого не заслужили!

Она ходила по узкому проходу между кроватью и сервантом. Щёки горели, руки лихорадочно двигались.

— Не кипятись, милая. Сядь, — успокаивала Ольгу соседка. — Сталин ничего не знал о проделках этих предателей. Благодаря Сталину наша страна победила в Великой Отечественной войне. С именем Сталина бойцы шли в бой. Я благодарна Сталину за своё детство. И давай оставим эту тему. Для меня Сталин — это всё! Вся страна скорбела и плакала, когда он умер. Таких, как Сталин, больше нет и не будет!

Ольга была расстроена и растеряна, но смолчала. Она решила больше не беспокоить больную соседку своим мнением о вожде народов.

— Что же стало с тобой потом, Зигмундовна?

— А потом я закончила медицинское училище. Но тут началась война. Помню, как всю нашу группу направили в военный госпиталь под Полтавой. Работать там пришлось недолго. Налетели немецкие самолёты, и в госпитале начался сущий ад. Всё кругом взрывалось, горело... Бежать было поздно, а прятаться негде. Рушились стены зданий, падали деревья. В воздухе летали обломки шифера и досок. Рёв самолётов, грохот взрывов, крики, стоны... В общем, ад наяву. Когда, наконец-то, всё закончилось, то я увидела вокруг себя руины госпиталя и трупы. Кругом одни трупы.

Оля, как это страшно. Эти трупы мне по сей день снятся. Трупы, трупы, трупы... И кровь, много крови. Скажи, как это забыть?.. — рассказчица повернулась к Ольге и вопросительно посмотрела на неё. Закатные лучи солнца вспыхнули огнём и погасли в её глазах, полных боли и ужаса.

Этот ужас передался слушательнице, её спина вдавилась в спинку стула, тело окаменело, она не сразу смогла ответить на вопрос.

— Я не знаю, милая. Не знаю, что тебе сказать и посоветовать. Я не знаю, как можно пережить и забыть эту боль. Видно, это такая боль, которая не проходит и с годами.

Зигмундовна приподнялась, пытаясь сесть. Ольга подложила ей подушки под спину, что бы она удобно устроилась полулёжа.

— Хоть бы чаю принесла, — привычно ворчливым голосом, но властно сказала Зигмундовна. — В горле пересохло.

Ольга убежала на кухню готовить чай. Пока закипала вода в чайнике, пока были наполнены чашки душистым настоем, пока принесенные Ольгой конфеты и печенья укладывались в вазочки — всё это время из комнаты доносились стоны, вздохи, неясное бормотание.

Во время чаепития женщины говорили о погоде, прошедшей тёплой зиме, а ещё о предвыборных обещаниях и обычных их невыполнениях главы района. Вспомнили про соседа Николая, который посулил сделать подпорки для винограда. Зигмундовна пожаловалась на нерегулярность работы почты. Обсудили всех и вся.

Когда со стола была убрана посуда и вымыты чашки, соседка снова принялась за свой рассказ. Наверное, впервые в жизни она смогла выговориться. Теперь у неё был собеседник, которому она доверяла. А может, потому, что времена настали другие, и не было больше сил скрывать правду о своей жизни. Или потому ещё, что выстраданное и наболевшее давно уже камнем лежало в груди и рвалось наружу. Может быть, невыносимо хотелось облегчить душу. Выплеснуть из сердца всю боль и страдания, копившиеся

там долгие годы — годы молчания с плачем без слёз и утратами без стенаний.

— Так вот, когда я обошла всё вокруг в поисках живых людей, то нашла одного единственного медбрата. Он был ранен в руку. Я его перевязала, и мы стали думать, что же нам теперь делать? Выходит, что госпиталя нет, раненых нет, медицинского персонала тоже нет. Решили мы с ним бежать от войны. Уж очень она нас тогда напугала. Сильно напугала. Госпиталь располагался в лесу, и, когда мы вышли из леса на большую дорогу, то увидели бесконечный поток беженцев. Люди шли и шли… Мы тоже влились в их поток, который тёк на восток. Запомнилось мне, что все молчали, даже дети не плакали и не капризничали. Тоже понимали, что началась война и пришла беда.

Зигмундовна замолчала. Из окна сквозь занавеску уже не просачивались весёлые лучи солнца. Комната погрузилась в полумрак. Забыли включить свет, и сумрак комнаты ещё больше усугублял тяжесть рассказа. В наступивших сумерках ещё мрачнее выглядели картины подробностей пережитой войны.

Горечь утраты снова вернулась к ней. Тягостные воспоминания болью легли на сердце. Она вспомнила, как общалась, разговаривала, шутила с сотрудниками госпиталя и больными, а их уж и в помине нет. Нет строгой, но справедливой Анны Андреевны — главного врача госпиталя. Нет любимой с детского дома подруги Оксаны Белых. Нет солдатика-весельчака Лёшки, сыпавшего анекдотами и шутками направо и налево, где только ступала его единственная нога, — вторую ампутировали после ранения.

— Неужели все погибли? — задумчиво спросила Ольга, обхватив себя руками и сжавшись в комок.

— Не знаю, надеюсь, что не все, — тихо, с надеждой в голосе, проговорила Зигмундовна и замолчала.

— Как я выжила? — встрепенулась вдруг она. — Сама удивляюсь. Иногда себя спрашиваю: «Почему я выжила?» Не нахожу ответа. Просто повезло и всё. И ведь даже ни одной царапины на теле.

— Наверное, Зигмундовна, у тебя очень сильный ангел-хранитель?

— Брось, Ольга, какой ангел-хранитель? Глупости всё это. Не верю я. В покойников верю, а в ангелов-хранителей не верю.

Она надолго задумалась. Тишину комнаты нарушало лишь тиканье будильника на столе да куст сирени за окном, который, клонясь от ветра, царапал и стучал веткой по стеклу.

— Зачем я тебе всё это рассказываю? Зачем? — после молчания снова и снова повторяла она, спрашивая то ли собеседницу, то ли себя.

— Рассказывай, Зигмундовна, рассказывай, — успокаивала её Ольга, по всей видимости, чувствуя острую необходимость соседки выговориться. Как говорят, или сегодня, или никогда.

Для Зигмундовны такой день, пожалуй, и наступил.

— Так вот, я уж и не помню, через какие сёла и города мы проходили. Голодные, холодные... Иногда люди пускали в свои дома переночевать, бывало, совали в руки кусочки хлеба, а в основном, считай, все шли и шли голодные. С медбратом старались держаться вместе. За долгую дорогу стали почти родными. Роднее вокруг не было. Останавливались ненадолго в каком-нибудь городе, но подходил фронт, и мы опять отправлялись в путь, чтобы уйти ещё дальше от войны. Снова дорога, дорога... Снова сёла и города... Короткая остановка и снова дорога... Тогда казалось, что так будет вечно.

В полутьме комнаты на фоне тёмного окна светлым овалом проступало лицо рассказчицы. Её глухой голос слышался откуда-то со стороны. Ольге стало страшно. Она резко встала, протянула руку в поисках выключателя, но впотьмах не могла его найти и только судорожно водила рукой по стене, пока её не остановил голос соседки.

— Ольга, выключатель находится на другой стороне двери.

Выключатель наконец-то был найден. Освещённая комната всё расставила по своим местам. Бледное лицо больной уже не

казалось расплывчатым. В окно ярким краешком заглянула луна, напомнив женщинам о наступившей ночи.

— Зигмундовна, может, хватит на сегодня? Меня муж потерял, наверное. Завтра ещё приду. Продолжим наши посиделки.

— Ну что ж, до завтра. А может, завтра я и поднимусь, кто знает. Не век же мне лежать.

— Ты, Зигмундовна, не забудь выпить лекарство перед сном. Поправляйся, дорогая.

— Счастливо соседка. Спокойной ночи.

Вот только ночь у Ольги оказалась совсем даже не спокойной. И вовсе не из-за мужа, который, как она думала, сильно беспокоится, ведь на улице давно ночь. Но не тут-то было. Муж лежал на диване перед включённым телевизором и храпел. Она наклонилась над ним, коснулась рукой его плеча.

— Иван, вставай, ложись в кровать, — Ольга посмотрела на экран, там шёл знакомый сериал, который она регулярно смотрела и старалась не пропускать. Героиня сериала сидела около реки и плакала. «Интересно, чего она плачет?» — сразу заинтересовалась Ольга. Жаль, что пропустила половину сегодняшней серии…» — подумала Ольга.

Попытки разбудить мужа были безрезультатными. Тогда она отодвинула его ноги в сторону и присела на край дивана, что бы посмотреть хотя бы конец фильма. А главное — узнать, почему плачет героиня? Потревоженный Иван спросонья дрыгнул ногой, отодвигая жену. Потом, с громким вскриком «а! что?», он проснулся и, увидев Ольгу, спросил:

— Где ты была? Ночь на дворе. Пришёл, жены нет, ужина нет. Хорошие дела!

— У Зигмундовны задержалась. Она приболела, — оправдывалась Ольга.

— Это ты называешь — задержалась? Ты посмотри на часы! Она что, умирает?

— Почему это умирает? Типун тебе на язык... — возмутилась Ольга.

— Я думаю, только возле умирающих до полуночи сидят.

— Вань, какие полуночи? Всего-то десять часов вечера. Ладно, хватит ругаться. Успокойся уже. Не мешай смотреть фильм, — бормотала Ольга, пытаясь разрядить обстановку. Она демонстративно уставилась в экран телевизора.

— Успокойся?! — всё больше распалялся муж, — Я, видишь ли, сижу голодный, холодный, покинутый, а она ещё меня успокаивает!

— Почему это ты холодный? Укрылся бы пледом, чтобы не мёрзнуть. А голодный, так кто не давал тебе поесть? В холодильнике рассольник вчерашний. Трудно разогреть?

— У меня что, жены нет?! Нормальные жёны у порога стоят, мужей с работы дожидаются. А ужин уже горячим должен стоять на столе. И сегодняшний, а не вчерашний. Разбаловал я тебя, Ольга, — уже более миролюбиво сказал Иван.

— Ладно, не сердись, — ласково заворковала жена, прижимаясь к нему. — Идём, я разогрею тебе ужин.

Ольга очень плохо спала. Всю ночь ей снились странные сны. Какие-то длинные-длинные дороги, которые уходили то высоко в пасмурное грозовое небо, то опускались в глубокую реку. А она всю ночь лезла и лезла по этим дорогам. И её, как пушинку, то сдувал ураганный ветер и нёс кубарем по пустыне, то валила смертоносная пурга, зарывая с головой в сугроб; то сбивал с ног проливной дождь под раскаты грома, а то ослепляла и выжигала глаза огненная молния. Ольга уже в кровь исцарапала руки и ноги. Нет сил, и нет помощи. Но она сквозь боль, кровь и усталость шла и шла по дорогам.

Несколько раз за ночь Ольга просыпалась и с облегчением выдыхала: «Слава богу, что это сон». Успокоенная, снова засыпала, но сон снова и снова возвращался.

Ольга проснулась рано утром разбитая и не выспавшаяся. Ночной кошмар вымотал её. Голова гудела. Решила вставать. Машинально справлялась с утренними заботами. «Как зомби», — пронеслось в голове, и Ольга впервые за утро улыбнулась.

— Ты сегодня какая-то сама не своя, будто не все у тебя дома, — вместо прощания пробурчал муж, уходя на работу.

— Это у тебя не все дома! — крикнула Ольга в закрытую за Иваном дверь.

Она наскоро сварила вермишелевый суп с куриной грудкой. Быстро прибралась в доме и побежала к Зигмундовне. Соседка лежала в постели, как ей показалось в той же позе, в которой она оставила её вчера. Её лицо было бледно-серым.

— Наверное, не спала, Зигмундовна? — поинтересовалась Ольга.

— Какой там сон? Воспоминания лавиной накрыли. Да... жизнь моя... — сокрушалась больная и вдруг властно:

— Ну, давай пить чай.

Ольга уже пила чай с мужем дома, но за компанию выпила ещё чашечку душистого напитка вприкуску с карамелькой. Зигмундовна поинтересовалась погодой на улице, прогнозом на ближайшие дни.

— Думаю, на днях нужно вставать и выходить на улицу. Уже все бока отлежала. Да и не век мне валяться в постели. Так можно и совсем залежаться, потом и вовсе не встанешь, — сокрушалась вслух соседка.

Ольга наблюдала, как нервно сжимаются её худые пальцы, утолщённые в ревматических суставах, а лицо вдруг стало сосредоточенным и каким-то загадочным. Потом она неожиданно спросила Ольгу:

— Ты ещё не устала от моих рассказов? Честное слово, сама не знаю, зачем я тебе всё это рассказываю?

— Рассказывай, Зигмундовна, рассказывай. Если возникла такая потребность, то рассказывай.

— Уж и не помню, на чём я вчера остановилась. Да ладно, какая разница. Слушай. Прибыли мы однажды с медбратом в какой-то город. Кажется, это был Ростов-на-Дону. Здесь его мобилизовали в армию. Я устроились на работу. Работаю, получаем трудовой паёк — карточки на хлеб и продукты. Немного повесе-

лела. Ночевала здесь же, в цехе, на лавках или на куче ветоши. И всё бы хорошо, но я снова осталась одна. Видимо, рок мой такой — одной куковать.

Ольга поёжилась, как от озноба. Сунула руки в карманы халата.

— Что, замерзла? В доме-то тепло, — чуть улыбнувшись, спросила Зигмундовна.

— Да нет, так, что-то дрожь пробрала от твоего рассказа. Бедная ты бедолага. Вдвоём тяжело, а одной совсем погибель.

— Да, правда твоя, трудно очень мне стало без моего защитника и верного друга. Но беда пришла оттуда, откуда, по наивности своей, я и не ждала.

— Что, обокрали?

— Да ну! Что у меня красть-то? Гол как сокол, как говорят. Рваное платье да потёртые туфли — вот и всё моё богатство. Красть нечего, — усмехнулась Зигмундовна, прищурив глаза. Потом, смахнув улыбку костлявой рукой, продолжала:

— Я же молодая была, наверное, красивая. Вот это и было моим горем.

— Да какое же это горе? Это счастье — быть молодой и красивой, — возразила Ольга.

— Если бы я была уродиной — то это было бы счастьем для меня в то время. И горя бы не было.

Она с насмешкой посмотрела на удивлённую собеседницу. Поправила сбившиеся на лоб седые кудряшки, в которых, как и вчера, играли зайчиками солнечные лучи.

«Старушка-то молодится», — подумала Ольга, отвлёкшись от рассказа.

— Ну, ну и что дальше? Чем тебе помешала жить твоя красота?

— Да тем и помешала, что стал за мной ухаживать мастер цеха. Возраста он был среднего. Но для меня, девчонки, он казался старик-стариком. Я и так и сяк намекаю ему, что не нуждаюсь в его ухаживаниях. Он не отстаёт. Тогда я прямо ему в лицо и

высказала: «Отстань, дядя, от меня. А не отстанешь, так пожалеешь об этом». А он наклонился к моему лицу, обдав меня запахом гнилых зубов и процедил: «Куда ты денешься, девонька?» Меня бросило в жар, — словно ведро горячей воды на меня вылили.

— Господи,.. — прошептала Ольга.

— С тех пор потеряла я покой. Вот всякая мразь и стала липнуть. Пришло время защищаться самой.

— И что же тут можно сделать?

— Да вот, сделала я кое-что. Даже не знаю, стоит ли говорить тебе об этом. Очень уж неприятная и скользкая история вышла. Долго я думала, несколько ночей не спала. Не знаю даже, рассказывать всё начистоту или утаить? Событие, которое произошло потом, до сих пор тревожит меня и гложет. Одно лишь успокаивает — он сам виноват. Я же его просила: «Оставь меня в покое». А он только ухмылялся и щипал меня за что ни попадя.

— Ты его убила? — прошептала Ольга, всем телом подавшись к рассказчице, округлив глаза от страха и удивления. Она двумя руками взяла руку больной и крепко прижала её к своей груди. — Бедная, бедная... — повторяла Ольга, и слёзы капали из её глаз.

Зигмундовна резко вырвала руку и сердито сказала:

— Да что ты! Как я могу убить человека? Я сделала другое. Я пошла в НКВД и пожаловалась на мастера, который не давал мне прохода. Всю правду там и выложила.

— С этим делом в НКВД? — недоверчиво посмотрела Ольга на соседку. — Наверное, посмеялись над тобой вволю? В военное-то время идти в НКВД из-за того, что мужик пристаёт к девке? Что-то я не верю тебе, Зигмундовна. Хоть режь меня, а хоть ешь меня живьём, а я тебе не верю.

— Ну и не верь, — обиделась старушка и замолчала, отвернувшись к стене. — Что ты знаешь о тех временах? По книжкам и фильмам? Вот в них точно много вранья. Я же тебе говорю правду, а ты не веришь. Глупая ты.

Обе женщины замолчали. И тут в тишине послышалось тяжёлое дыхание и тоненькие всхлипывания больной. Ольга встрепенулась.

— Ты что, Зигмундовна, плачешь, что ли? Да ну его — этого мастера. Стоит ли из-за него плакать? Он подлец, не плачь.

— Так я сгубила, наверное, человека, — тяжело выговаривая каждое слово сквозь слёзы, сказала старушка, не поворачиваясь к Ольге.

— Да чем ты могла его сгубить? Подумаешь, рассказала о нём в НКВД? Делов-то? С него, наверное, как с гуся вода. Отряхнулся, усмехнулся и пошёл дальше.

Зигмундовна повернулась к Ольге и сердито сказала:

— Не скажи, Ольга. В данном случае, как ни кинь, а всё клин. По-моему получилось, даже и не ожидала. Жаль только, что последствий не знаю.

— Каких последствий? Что ты всё загадками говоришь?

— Таких вот последствий! Не видела я его больше на предприятии. Куда он делся, не знаю. Пропал человек, и я в этом виновата, — грустно закончила рассказчица.

— Да что ты убиваешься? На фронт отправили. Так и сказали ему: «Нечего глупостями заниматься да к малым девчонкам приставать. Иди-ка, братец, на фронт да повоюй за свою Родину». Зигмундовна, ей богу, так и было. И не переживай! Не вини себя! В чём ты виновата? В том, что на тебя с самого детства свалилось столько горя и несчастий? В НКВД и тебя пожалели, избавив от подонка, и в армию направили ещё одного бойца. Верь мне — так и было.

Зигмундовна вздохнула:

— Может ты и права, соседка моя дорогая. Что бы я без тебя делала?

— Зигмундовна, а что же было дальше?

— Дальше? А дальше снова дорога. Уже без моего друга медбрата.

— Скажи, а почему ты называешь его медбратом? У него что, не было имени? — удивилась Ольга.

— Забыла его имя, представь себе. Жаль, не сохранила в памяти. Дырявая стала голова, как решето. Что-то удерживается в сознании, а иное просачивается, как в дырочку, и падает куда-то в пустоту. Старость, милая — не радость. Ну да ладно…

— Ты, Зигмундовна, выздоравливай побыстрее и пойдём к морю гулять. Подышим свежим воздухом.

— Скорее бы уже, — с надеждой выдохнула больная, оглядываясь на окно, которое искрилось от ярких, теплых, весенних лучей черноморского солнца.

— Зигмундовна, а как ты попала в наши Кубанские края?

— Ноги привели, Ольга, ноги. Бежала, бежала от войны. Так и прибежала сюда, — громко рассмеялась больная, — Теперь это и моя Родина. Уже здесь вышла замуж, родила детей. Жаль только, что мой муж Сёмушка давно уже умер. Дожидается, голубчик, меня на том свете. Скоро приду, жди, Сёмушка.

Зигмундовна закрыла глаза и, не открывая их, сказала:

— Иди Оля. Спасибо тебе. Устала. Хочу отдохнуть.

Ольга молча, на цыпочках, вышла из комнаты, тихо прикрыв за собой дверь. Она тоже решила отдохнуть. Дома прилегла на диван, но, несмотря на почти бессонную ночь, так и не смогла уснуть. Повалявшись, она встала, налила вермишелевый суп в банку и отправилась кормить больную обедом.

Тихо вошла в дом. В комнате громко работал телевизор. В кухне было слышно какое-то движение. Всё это очень удивило её. Она осторожно заглянула в комнату — кровать была пуста.

— Кто там? — послышался звонкий голос Зигмундовны из кухни. — Ольга, это ты? Иди обедать, я приготовила борщ с пампушками. Получилось, как у мамы, ей богу.

Ольга растерянно посмотрела на свою банку с супом, задвинула её подальше в угол за шкаф и распахнула дверь в кухню, наполненную ярким солнечным светом и изумительным ароматом свежесваренного украинского борща с душистыми чесночными пампушками.

Шторм

Посвящается офицерам, солдатам, матросам и кораблям, погибшим 30 мая 1838 года в водах Черного моря у туапсинских берегов.

Нам нужны такие корабли на море,
Что бы мы могли с любой волной поспорить.
Маяки нужны, и нужен нам локатор,
А ещё нам верные нужны ребята. …
Гимн Военно-Морского Флота

Стоял ясный, солнечный майский день. Приморский город Туапсе совсем недавно зазеленел молодой свежей листвой, ещё не запылённой и не обгоревшей под жарким южным солнцем.

Школьный двор весь залит солнечными лучами, которые бликами вспыхивали в оконных стёклах, отражались и тонули в зелёном кружеве тополей, плотным кольцом обступивших здание школы и двор.

Вслед за учениками во двор вышел классный руководитель 6«А» Глеб Юрьевич, молодой учитель математики. Ученики обожали его за весёлый характер, за сухощавую, крепкую и мускулистую фигуру, а ещё за ясную и светлую улыбку. Ребята обступили своего любимого учителя, а он посмотрел на них большими карими глазами, улыбнулся и сказал:

— Вот и всё, ребята, учебный год закончился. Теперь встретимся первого сентября, а летом купайтесь, загорайте, но не забывайте читать книжки.

— Глеб Юрьевич, давайте пойдём в поход? Нет, лучше отправимся в плавание на корабле, — наперебой загалдели ребята.

— Ну что ж, в плавание на корабле мы не пойдём, а вот посидеть около костра на берегу моря, испечь в углях картошку, а ещё полюбоваться закатом солнца и послушать прибой — это можно. Тем более, для этого есть очень подходящий повод.

Вечером 30 мая, изрядно уставшие от беготни и хлопот по устройству бивуака, наевшись печёной картошки и домашних припасов, принесённых с собой, ребята тесным кружком расположились вокруг костра. Сушняк заготовили заранее, ещё днём, чтобы надолго хватило.

Стоял удивительно тихий вечер. Где-то далеко-далеко, за синим горизонтом, солнце уже погасило последние багровые лучи в холодных майских водах Чёрного моря.

Лёгкий морской бриз теребил ещё не выгоревшие под солнцем вихры на головах мальчишек и ещё жарче раздувал костёр, языки пламени которого поднимались ввысь, рассыпались там на яркие искры и гасли в тёмном пространстве.

В наступившей вечерней тишине был отчётливо слышен шум прибоя, как подкатившая по мелководью волна ударяется о прибрежные камни и, отступая, шуршит галькой, увлекая её за собой.

Ребята удобно расселись в ожидании рассказа учителя.

Глеб Юрьевич молчал и долго смотрел в сине-чёрную даль моря, будто что-то хотел там увидеть.

— А знаете ли вы, ребята, что произошло в далёком 1838 году в водах Чёрного моря около туапсинских берегов? — спросил учитель и, не дожидаясь ответа, продолжил:

— Города Туапсе, конечно, тогда ещё не было. В 1838 году на черноморский берег высадился десантный отряд численностью 14346 человек. И уже на другой день около реки Туапсе началось строительство Вельяминовского укрепления. Так когда-то зарождался наш любимый город.

Итак, 1838 год, 30 мая. На берегу полным ходом идёт строительство, а в море тринадцать судов стоят на рейде: бриг «Фемистокл», тендеры «Луч» и «Скорый», пароход «Язон», транспортное средство «Ланжерон» и восемь купеческих судов.

Был обычный весенний день, ничем не предвещавший будущей трагедии. На берегу стучали топоры, а на море между судами и берегом сновали шлюпки и баркасы.

В 14 часов по воде неожиданно пошла зыбь, подул зюйд-вест, который был опасен для стоянки кораблей в этих местах. Ещё утром чистое небо покрылось чёрными облаками. Средь бела дня наступили сумерки. Казалось, что тревога и опасность повисли в воздухе. И одни корабли спешно пошли в море, а другие отдали вторые якоря.

Ветер крепчал так быстро, что очень скоро разбушевался шторм страшной силы, поднимая волны даже у берега на 5-7 метров. К шторму добавились гроза и проливной дождь. Непогода пришла так неожиданно и стремительно, что корабли не успели уйти в море на безопасное расстояние от берега. Один за другим суда стали дрейфовать. Громадные волны с шумом и яростью ударялись о корпуса кораблей, поднимая высокие водяные столбы, которые обрушивались на палубу, сметая всё на своём пути.

Ветер усиливался, бушевала гроза. Дождь лил сплошной стеной. Моряки не успевали рубить мачты и те, не выдержав напора ветра, ломались и падали в пенистую, бурлящую воду. Стихия несла корабли на прибрежные скалы.

Ветер и волнение на море достигли такой силы, что некоторые корабли дрейфовали к берегу даже с невыбранными якорями. К тому же, якорные канаты в те времена в основном изготавливались из пеньки, они были непрочными и не выдерживали напора воды, рвались. Огромные волны выбрасывали суда на берег, как щепки. Казалось, что море кипит, и его страшный рёв сливается с обезумевшим ветром.

К вечеру все купеческие корабли были выброшены на сушу. К сожалению, не всем морякам удалось спастись. Такая же участь постигла и корабли «Ланжерон», «Скорый» и «Фемистокл».

— Глеб Юрьевич, неужели всё это было на самом деле? Как страшно-то.

Учитель прервал рассказ, Огонь почти догорел. Он подбросил ветки в костёр, который ярко вспыхнул, окрасив лица ребят в розоватый цвет, и отразился огоньками в их широко открытых

глазах. В наступившей тишине было слышно потрескивание дров в костре

да тихое вздыхание прибоя. Глеб Юрьевич улыбнулся, обвёл глазами тесно сидевших кружком детей.

— Ну, слушайте дальше. Да, всё так и было. Об этом мне рассказывал мой дед-капитан дальнего плавания, а ему рассказывал его дед. Так эта трагическая история дошла до меня. А сейчас я рассказываю её вам. — Учитель задумчиво посмотрел в сизую морскую даль, словно хотел что-то рассмотреть на горизонте, едва различимом в ночи. Помолчал и продолжил свой рассказ. — Разгул дикой стихии не прекращался и ночью. В яростном рёве моря тонули крики моряков о помощи. И суша, и море слились в один кромешный ад, в котором гремело море, грохотали небеса, и летели стрелы молний, свет от которых выхватывал из темноты картины страшной трагедии.

Солдатам и матросам на берегу было невыносимо больно смотреть на тонущих товарищей, но они не в силах были помочь им. Казалось, что сама смерть смотрела на них из обезумевшей стихии. На суше пытались жечь костры, но проливной дождь тушил огонь, а ветер и волны готовы были унести смельчаков в море. И всё-таки солдаты и матросы, рискуя своей жизнью, бросали в море канаты, за которые цеплялись, выброшенные стихией в море моряки. Таким способом была спасена большая часть терпящих бедствие.

Дольше всех на плаву удерживался пароход «Язон», но и он под напором шторма стал дрейфовать к берегу, натягивая якорные цепи. Вода залила топку, двигатель остановился, и пароход, как и все остальные суда, стал подвластным чудовищной буре. Свирепые волны прокатывались по палубе от носа до кормы. Спасением для моряков была грот-мачта. На огромных водяных валах пароход кренился то на один борт, то на другой. Моряки, сидевшие на грот-мачте в кромешной темноте и обдуваемые ледяным холодом, будто повисли над бездной в ожидании спасительного утра.

Рассвет 31 мая открыл взоры на ужасающие последствия шторма. Все тринадцать судов были выброшены на берег. Стихия унесла жизни более семидесяти офицеров, матросов и солдат, тела которых с воинскими почестями были преданы земле на берегу моря…

…Рассказ был закончен, но дети продолжали сидеть молча, потрясённые услышанным.

Глеб Юрьевич обнял сидевших рядом ребят, и сказал необычно значительным голосом:

— Я рассказал вам о коварстве морской стихии не случайно. Да, сегодня тоже 30 мая, как и много-много лет назад. Мы, живущие сегодня, должны знать историю своей земли. Мы должны помнить, что море не прощает ошибок, а корабли, как и люди, рождаются, живут и умирают. Мы не должны забывать людей, геройски погибших на нашей земле. Люди, забывшие свою историю, не имеют будущего. Я желаю, чтобы ваше будущее было чистым, светлым и долгим. А теперь, ребята, давайте укладываться спать. Совсем мы засиделись.

Морской бриз уже не был таким тёплым и ласковым, прибой уже не шелестел галькой, а с шумом накатывался на берег. И в его гневном рокоте слышался отголосок той давней трагедии…

Голубые купола

«Глубочайшая истина расцветает лишь из глубочайшей любви»

Генрих Гейне

Семь часов утра. Инна Петровна лежала с открытыми глазами. Сквозь узкую щель в плотных ночных шторах, растворяя темноту и сказочно клубясь в воздухе, неспешно заходило в спальню солнце. Вторая ночь без сна, вторую ночь мучает один единственный вопрос: «Как благополучно внуку сдать ЕГЭ? Как помочь ему преодолеть это испытание?» Экзамены её уже взрослых детей, а тем более, собственные, были так давно, будто в прошлой жизни. А тут «маленький» внучок, который ростом давно перегнал бабушку, но всё ещё оставался маленьким для Инны Петровны и ... такие трудности!

«Нужно обязательно помочь внуку! Но как?», — думала она, не находя себе места.

Под утро её осенило — буду молиться в церкви. Инна Петровна редко посещала храм, только по великим праздникам. А тут решила попросить бога помочь. Больше просить не у кого.

От её реальной помощи — сидением рядом и штудированием учебников, внук решительно отказался. Сказал, что ему удобнее заниматься на компьютере. «Ох, уж эта современная молодежь! Без компьютера и шагу не ступят! Прогресс! Если так пойдет и дальше, то все книги скоро отправят в утиль», — грустно думала Инна Петровна, с трудом поднимаясь с кровати. Машинально вскипятила воду в чайнике и второпях выпила кофе с сухим бубликом. Надела непривычную для себя юбку «в пол», которую обычно использовала для траурных мероприятий, блузку с длинными рукавами, повязала старенький мамин ситцевый платочек в голубой горошек.

Она шла по тропинке, уверенная и довольная собой за принятое решение. Рядом по дороге с рёвом и грохотом проезжали тяжёлые грузовики; почти беззвучно, легко шурша колесами по асфальту, проносились легковые автомобили. Казалось, каждый стремится к своей цели: одни шумно и громогласно, другие вкрадчиво и тихо.

Дорога вела в гору, и бодрый шаг Инны Петровны постепенно становился всё медленнее и тяжелее. А впереди нужно было преодолеть ещё двести пятьдесят ступеней вверх к церковной паперти.

— Ничего, я всё вытерплю, я должна! — шептала она упрямо. — Уф! Наконец-то! — тяжело выдохнула и, едва переводя дыхание, ступила на последнюю плиту лестницы. Вот она — церковь!

В маленькой поселковой церкви было многолюдно: женщины, мужчины, дети. Она с трудом протиснулась в глубь храма. Справа, слева и сзади, казалось, навалились люди, сжимая грудную клетку, отчего трудно было дышать. Кто-то больно наступил на ногу. В поясницу давила чья-то сумка. Воздух в помещении был тяжёлый, в нём смешивались сладковатый запах горящих восковых свечей, дурманящее благовоние ладана и тяжёлый дух от множества разгорячённых тел.

Началась служба. Сквозь толпу Инна Петровна с трудом видела священника, но очень хорошо его слышала. Голос у батюшки был громкий, зычный. Креститься из-за давки было почти невозможно. Рука с трудом поднималась вверх, а потом её уже невозможно было опустить.

Оттого, что в храме было душно, у Инны Петровны периодически возникало желание выйти на улицу и вдохнуть в себя хотя бы глоток чистого кислорода. Порою вся толпа приходила в движение, колыхалась то вправо, то влево, как жидкость в сосуде. После определённых трудностей этой жидкости всё же удавалось выплеснуть на улицу частицу себя сквозь узкую входную дверь.

Счастливчик не просто выходил наружу, а словно выныривал из проруби, жадно глотая воздух.

А ещё труднее приходилось, когда батюшка с кадилом обходил всё помещение по периметру. Освобождая ему дорогу, прихожане буквально вклеивались друг в друга. От этого в толпе наступало одно общее дыхание — все вдохнули, потом все выдохнули.

Инна Петровна стоически отстояла службу, прослушала проповедь батюшки. Когда же все чинно, не торопясь и не толкаясь несмотря на тесноту, вышли, она подумала: «Службу отстояла, а за внука-то так и не помолилась».

В пустой уже церкви приблизилась к большой, в человеческий рост, иконе Иисуса Христа справа от ворот в алтарь. Встала на колени и начала молиться. В церкви никого не было, поэтому молилась вслух, чтобы уже наверняка Господь услышал её просьбу. Инна Петровна знала наизусть только одну молитву — «Отче наш» и поэтому молилась своими словами. Но слова застревали в горле, да и не приходило в голову ничего нужного и необходимого. В основном, она повторяла одну и ту же фразу: «Помоги-и, Го-осподи, сдать экзамены моему внуку... Помоги-и, Го-осподи, сдать экзамены моему внуку...»

Но как ни странно, постепенно она освоилась, и молитва потекла как бы сама собой. Откуда-то возникали нужные слова. Она усердно молилась, крестясь и прикладываясь лбом к полу. Все мысли и чувства были направлены к Иисусу. Видела перед собой только его образ, не замечая ничего вокруг. И она так глубоко вошла в молитву, что реальность покинула её. С закрытыми глазами просила Создателя так, словно читала по писаному. В тишине церкви слышался только её размеренный голос. И вдруг Инна Петровна что-то услышала или почувствовала, а может, и то, и другое сразу. Ей почудился голос: негромкий, вкрадчивый, почти шёпот: «Хватит, я тебя уже услышал».

Она вздрогнула, застыла на полуслове с открытым ртом, посмотрела на икону. Христос молчал, но смотрел прямо ей в глаза. Инне Петровне стало жутко. Она с опаской оглянулась по сторо-

нам. Церковь была пуста. С трудом поднялась на ноги, затёкшие от долгого стояния на коленях. Руки дрожали. Заглянула за перегородку для певчих. Там никого не было. Выглянула на улицу — тоже никого. Заглянула за открытую входную дверь. Может, кто-то за дверью прячется? Но и там никого.

Инна Петровна торопливо вышла из храма. Молиться расхотелось. Да и сказал же Иисус: «Хватит, я тебя услышал». Растерянная, со смешанными чувствами, шла она домой, повторяя, как попугай одно и то же: «Что же это такое? Что же это было?..»

Задумчиво шагала она по тропинке и уже не слышала грохота машин. Быстро зашла в дом, всё ещё находясь под впечатлением происшедшего в церкви. Она и впоследствии часто задавала себе вопросы: «Что это было? Реальность или привиделось, а скорее, послышалось в горячей молитве?»

И только много позже стала рассуждать — по-видимому, в алтарь (помещение за иконостасом) вошел кто-то через другую дверь, очевидно, батюшка, а скорее всего, кто-то из его сыновей. И этот кто-то, услышав её бормотание, решил над ней подшутить. Если это так, то шутка, как считала Инна Петровна, им удалась.

Она была далека от мысли, что это было чудо, но иногда сама себе говорила: «А кто его знает — Господа?»

Эти рассуждения были уже потом, а пока Инна Петровна продолжала упорно ходить в церковь каждый день. Однажды она решила до службы заглянуть в церковную лавку, купить свечи. Разговорилась с продавщицей, рассказала ей, что молится за внука, за его успешную сдачу ЕГЭ. Продавщица оказалась словоохотливой женщиной и сказала, что в учебе очень хорошо помогает Святой Сергий Радонежский. Инна Петровна была ей очень благодарна и приобрела маленькую икону этого святого.

В церкви поставила свечи за родных: живым за здравие, умершим за упокой. Она уже попривыкла к церковным правилам, а в церкви привыкли к ней. Стала почти своей. Особенно сошлась со своей ровесницей прихожанкой Лидией, которая после службы бескорыстно, по своей инициативе оставалась убирать храм

и чистить подсвечники. Зачастую они оставались вдвоем после службы.

Как всегда, Инна Петровна отстояла службу, прослушала батюшкины наставления прихожанам. Когда все разошлись, осталась помолиться в одиночестве. Для этой цели специально приберегла одну свечку. Лидии по какой-то причине на службе сегодня не было.

Инна Петровна стала обходить помещение храма в поисках иконы Святого Сергия Радонежского. Дважды обошла храм, прочитала имена всех святых под образами, но не нашла нужной иконы. Возле самого выхода увидела маленький образок, лика не было видно, сердце радостно забилось. С надеждой шла она к иконе, но, к сожалению, на ней был изображён Святой Дмитрий Донской. Она вздохнула, очевидно — не судьба. Решила, что Сергию Радонежскому помолится дома на икону, купленную в церковной лавке.

Чувствуя себя в церкви вполне свободно, подошла к большой центральной иконе Богородицы на иконостасе. Поставила ей большую пятидесятирублевую свечу, встала на колени, крупно перекрестилась и громко стала просить Богородицу помочь внуку сдать успешно экзамены.

Матерь Божья так же, как и Иисус Христос, смотрела прямо в глаза. У Инны Петровны было ощущение, что Богородица внимательно её слушает.

Помолившись, пошла к выходу вся опустошённая и уставшая. Мельком посмотрела на икону Святого Дмитрия Донского и... застыла на месте, не поверив своим глазам. Под ликом святого написано — Сергий Радонежский.

Инна Петровна опёрлась рукой о стену — сдавило горло, нечем стало дышать. Медленно подошла к иконе, потрогала её рукой. Нет, реальная, не мистическая. Ещё раз прочитала надпись — Святой Сергий Радонежский. Перевела взгляд на изображение святого. Вместо воина в доспехах, которого она видела ранее, на иконе был изображен седовласый старец со свитком в

руке. Ольга Петровна закрыла глаза, постояла так немного, потом открыла их и снова посмотрела на икону. Ничего не изменилось, перед её взором по-прежнему был образ Святого Сергия Радонежского. По телу пробежала дрожь, а в голове мысль: «Не сплю ли я?»

Ноги стали ватными, с трудом добралась до скамьи у входа. Посидела, вздохнула, а когда выходила из церкви, то снова подошла к иконе, подумала: «Может, всё же Дмитрий Донской это?» Но, как и раньше, перед глазами был лик Святого Сергия Радонежского. Инна Петровна подошла к иконе, прикоснулась к ней пальцами, снова вздохнула и вышла из храма. Молиться у неё уже не было сил.

«Вот и второе чудо произошло со мной в церкви. А говорят, чудес не бывает», — думала она по дороге домой.

На следующее утро перед службой рассказала эту историю Лидии, которая сквозь смех спросила:

— Ты и вправду подумала, что иконы сами собой поменялись?

Инна Петровна обиделась, решив, что та не поверила её словам.

— Почему ты мне не веришь?! Все так и было, как я говорю. Сначала на стене был образ одного святого, а потом появилась откуда-то икона другого святого. Ты думаешь, что я сошла с ума?! — возмущалась она.

— Дело в том, — продолжала Лидия, — что по указанию батюшки староста заменил икону Святого Дмитрия Донского на Святого Сергия Радонежского. Видно, менял он иконы как раз, когда ты молилась.

— А почему я не слышала и не видела? Я же находилась в церкви?

— Как же можно услышать, когда ты так громко молишься? А не увидела, потому что молилась спиной к двери.

Возвратившись домой, Инна Петровна попросила внука найти в компьютере образы этих святых, и когда рассматривала их,

то неожиданно сделала для себя открытие. Есть иконы, на которых изображены они оба. Оказывается, Сергий Радонежский благословлял Дмитрия Донского на Куликовскую битву с Мамаем. Это событие и было отображено иконописцами.

Судьбы Сергия Радонежского и Дмитрия Донского переплелись вместе, как переплелись их иконы в голове Инны Петровны.

Время шло, и однажды она, как обычно, преодолела путь по тропинке в гору, потом двести пятьдесят ступеней вверх, проследовала через небольшую поляну с луговыми цветами перед храмом. На поляне несколько женщин рвали цветы, но она не придала этому никакого значения.

Не торопясь, после тяжелого подъема по лестнице, приближалась к церкви. Погода в этот день была замечательная. Утреннее солнце освещало деревья, обрамляющие поляну полукругом. Золотистые лучи, проходя сквозь не густую еще весеннюю листву, оставляли узорчатый, как кружева след на траве. Настроение у Инны Петровны было пречудесное.

Когда подошла поближе к церкви, то увидела сущее безобразие. На дорожке, ведущей в храм, валялись ветки кустарников, трава и охапки привядших цветов. Всё нутро у неё возмутилось.

— Вот, безобразники! Наверное, мальчишки нахулиганили?! Разбросали бурьян! — возмущалась Инна Петровна.

Засучила рукава, подтянула повыше юбку и кинулась в бой с беспорядком. Торопилась успеть до службы.

— Как же никто не увидел этот мусор? Где же Лидия? Куда она смотрит?! Прохлаждается себе, видимо, а тут такое... — горячилась Инна Петровна и ругала нерасторопную, как ей сейчас казалось, Лидию.

Работала быстро, как машина. Непрерывным потоком летели на обочину ветки, цветы, трава. Наконец-то и она сделает доброе дело для своего храма! Инна Петровна даже зауважала себя. Ей захотелось, что бы её увидели, похвалили. Вот, никто этого беспорядка не увидел, а она увидела и навела порядок. Да разве ей трудно? Для родного храма и поработать в радость.

Она трудилась не разгибаясь, и неожиданно прямо перед своим носом увидела батюшку с матушкой, спешащих на службу. Они были красиво, по-праздничному, одеты.

Инна Петровна — добрая душа, прямо перед ногами батюшки убирает бурьян, выхватывает из-под ног ветки, чтобы не упал ненароком, не споткнулся.

Батюшка с матушкой чинно прошествовали в храм.

— Даже не поблагодарили, — удивилась она.

Ни батюшка, ни матушка ничего не сказали. Вот только заметила она, что батюшка с удивлением на неё посмотрел, а матушка почему-то засмеялась и отвернулась.

Вслед за ними, и она вошла в церковь. А когда вошла, то ахнула! Весь храм был украшен ветками деревьев и кустарников, цветами. Цветы были повсюду: в вазах, на иконах, на полу, на подоконниках. В углу стояла красавица-береза, а весь пол покрыт травой, отчего он был мягким, как домашний палас. Свежескошенная трава пахла, точно после летнего грозового дождя.

Инне Петровне стало стыдно за себя, за своё невежество. Она была не столько прихожанкой, сколько захожанкой в церковь, поэтому не знала, что в этот день был праздник — день Святой Троицы. Ей стало стыдно за то, что ругала ни в чем не повинную Лидию. Скорее всего, это Лидия вместе с другими прихожанами украшали храм и дорожку к нему.

— Глупая я. Пришла и всё испортила, — сожалела она о случившемся.

Но, что сделано, то сделано. Назад ничего не вернёшь. Хорошо, к счастью, никто из прихожан не видел, засмеяли бы.

А батюшка с матушкой сделали вид, что ничего не заметили.

Так прошёл этот день — без чуда, но весело.

Как-то после службы она с Лидией чистила подсвечники. Разговорились.

— Как там твой внук сдаёт экзамены? Помогает молитва?

— Может, молитва, а может, внук умный, и экзамены он пока сдаёт благополучно. Пусть и дальше ему сопутствуют удача и везение.

— Что ты, Инна, разве можно рассчитывать на удачу и везение? Полагайся только на Бога, только он надежда и опора. Сказано же в писании: «Просите — и дано вам будет, ищите — и найдёте, стучитесь — и отворят вам...»

— Твоя правда, Лидия. Больше не к кому обратиться за помощью, — печально и обречённо тихо проронила Инна Петровна и вздохнула.

Собеседница сочувственно на неё посмотрела и вдруг, поправив, выбившиеся из-под косынки волосы, весело стрельнула глазами и звонким голосом выпалила:

— Тебе нужно что-то пообещать Господу и обязательно выполнить это обещание. Сделай, как я говорю. Я знаю, это помогает в просьбе.

Инна Петровна медленно шла домой. Солнце было в зените и нещадно палило даже сквозь ситцевый платок и блузку. Она мысленно перебирала варианты обещаний Богу, но ничего путного в голову не приходило. Так в раздумьях дошла до лестницы, не спеша стала спускаться по ступеням. Солнце слепило глаза. Воздух под жаркими лучами словно колыхался и клубился, отчего ступеньки потеряли прежнюю чёткость линий. Отвлечённая мыслями от дороги, Инна Петровна споткнулась о ступеньку и чуть было не упала. Она представила, как летит кубарем вниз по ступеням, размахивая в разные стороны руками и ногами, теряя по пути туфли, сумку и кто знает, что ещё. «А ступеней-то двести пятьдесят!» — весело подумала она и рассмеялась.

Напевая под нос непонятно откуда взявшуюся мелодию, теперь уже осторожно спускалась вниз, глядя на ступеньки. Под ноги постоянно попадался всякий мусор: то пустые бутылки, то палки, то кем-то потерянные почему-то непарные туфли, то какой-то ещё другой хлам. Внезапно она остановилась и хлопнула себя ладонью по лбу: «Ура! Я всё нашла, я придумала. Господи, я уберу эту безобразно замусоренную лестницу, которая ведёт в твой чистый храм!»

На рассвете следующего дня Инна Петровна пришла к лестнице с веником, совком и ведром. Старательно, даже лучше, чем делала бы это дома, она подметала ступеньку за ступенькой, медленно спускаясь вниз, не обращая внимания на взгляды прохожих. Кто-то, наверное, узнавал её, но поражённый её странным занятием, молча проходил мимо. А ей сейчас совсем не до них. Было даже забавно думать, какие же мысли крутились в некоторых головах: «С какой стати она метёт лестницу, которую сроду никто не мёл? Тронулась умом? Блаженная?» Ольга Петровна улыбнулась своим мыслям, старательно собирая мусор в совок. Прошло ещё несколько дней, бабушка регулярно молится за внука, который успешно сдаёт экзамены, и она уверена, что в этом есть и её заслуга.

Чудным весенним утром она привычно следовала в церковь. Небо было необычайно ярко-голубого цвета. До службы времени было предостаточно, и она неторопливо шла, вдыхая ароматы весны и свежей зелени. Воздух, казалось, переливался в лучах восходящего солнца. Природа словно млела, наслаждаясь весной, а вместе с природой млела и Инна Петровна. Она подставляла теплым лучам солнца своё бледное после зимы лицо.

Впереди неё в том же направлении неторопливо двигались две старушки и оживленно о чём-то беседовали. Инна Петровна не считала себя старушкой, молодилась. И сейчас, стараясь не щуриться от солнца, чтобы не было морщин, полуприкрыла веки, и смотрела себе под ноги.

Неожиданно она услышала испуганные крики, и увидела старушек, стоящих на коленях. Они, задрав головы, что-то рассматривали наверху и неистово крестились. До неё долетали отдельные фразы — «Господи, спаси! Господи, помилуй!..»

Инна Петровна остановилась, тоже взглянула туда, куда смотрели старушки, и не поверила своим глазам. В небе парили два креста. Они именно парили, потому что под ними не было никакой опоры. В лучах солнца они искрились, будто и сами были солнцем, таким же ярким, что на них невозможно было смотреть.

Инна Петровна ничего не могла понять, её мысли то ли улетучились, то ли испарились. Безмолвно и завороженно рассматривала сверкающие кресты, даже не пытаясь объяснить это явление.

Наконец-то реальность вернулась к ней. Разумеется, она не стала падать на колени, но мысли её путались в голове — висевшие в воздухе кресты не давали сосредоточиться.

— Мистика какая-то. Что это: видение, мираж, чудо?.. — гадала она, вглядываясь в небо. Но ни одной полезной мысли. Она осмотрелась по сторонам, стараясь в окружающих предметах найти ответ: ответа не было. Ну, хотя бы один аргумент, но ничего — одна пустота.

И вдруг эти кресты стали ей кое-что напоминать. Да, да, именно такие кресты были над храмом, куда она сейчас и идёт. Она посмотрела на них с другого места. Действительно, отсюда уже видны кресты церкви, но видны вместе с куполами, шатрами и частью крыши.

— Где купола, шатры и крыша церкви? — вслух рассуждала Инна Петровна.

Она отошла немного вправо, потом влево, вперед и назад. Крыша не появилась. Снова задумалась над этой загадкой. И вдруг её как молнией осенило. Крыша, шатры и купола покрашены в ярко-голубой цвет, в такой же яркий, как и сегодняшнее весеннее небо. Голубое небо, голубые шатры и купола просто слились в единое утреннее голубое пространство под яркими лучами солнца. И миру явилось чудо в виде парящих в небе и сверкающих крестов.

Это было третье чудо за дни, проведенные Инной Петровной в усердной молитве о внуке. Помогла ли ему? Об этом знает только Бог да Инна Петровна, а она верит, что помогла, об этом Бог подал ей знак. Внук же благополучно сдал все экзамены.

Сюрприз

Придя к убеждению, что «в мире нет ничего, что было бы достойно её!», мужчина предлагает себя

Спенсер Трейси

Машутка (так называл Иван свою жену Машу за её весёлый и неунывающий характер), не открывая глаз, сладко потянулась. В нетопленной комнате было прохладно, от окна через штору тянуло сыростью. Она быстро вспорхнула с постели, накинула на себя ситцевый халатик, двумя руками раздвинула оконные шторы, встав на цыпочки и всем телом подавшись вперёд, похожая на воробышка, который собрался вылететь на волю. Однако тёплые солнечные лучи, вопреки её ожиданию, не хлынули в комнату. Машутка вздохнула, с грустью посмотрела на серое зимнее утро за окном, потом весело засмеялась и с разбегу плюхнулась на спавшего мужа. Муж от неожиданности свалился с кровати на пол и смешно, по-детски, ладошками, пробовал защититься от щекотки своей неугомонной жены.

— Хватит, Машутка, — сквозь смех взмолился Иван.

Он притянул её к себе, обнял. Белокурые волосы шёлковой прохладой легли на его лицо.

— Ваня, ну хватит уже вылёживать, — сказала жена, пытаясь показать мужу, что сердится. Она, как гибкая кошка, легко выскользнула из его объятий.

Пока Иван брился и умывался, дом наполнился ароматом кофе, на плите сковорода весело шкворчала яичницей с колбасой. Во время завтрака Машутка загадочно посмотрела на мужа:

— Вань, у меня скоро день рождения, что ты мне подаришь?

— Какая ты хитрая, кто же это о подарках заранее рассказывает?

— Ванечка, Ванечка, пожалуйста, скажи. Мне так хочется знать.

Жена соскользнула со своего стула, легко, как ветерок, обогнула стол, обняла сзади сидящего за столом мужа, и, целуя его в щёку и шею, просила раскрыть ей секрет. Но Иван тайны умел хранить.

Работа сегодня у него не клеилась, он был рассеян и невнимателен, отвечал невпопад. Одним словом, присутствовал без присутствия. Наконец, один сослуживец Ивана по имени Сергей, спросил:

— Иван, что с тобой? Ты не заболел?

— Нет, не заболел. У Маши скоро день рождения, а я не знаю, что ей подарить. Хочется сделать необычный подарок, особенный, чтобы надолго запомнился.

— Ну, что ты выдумываешь? Пойди в магазин и купи что-нибудь: колечко или браслетик. Женщины любят всё блестящее. Помнишь песню: «…лучшие друзья женщин — это бриллианты…». Нашёл из-за чего расстраиваться, — он подошёл к Ивану, похлопал его по плечу. — Не вешай нос, парень! А мы сегодня с моей Настей идём в сауну.

— В какую сауну? Разве в нашем посёлке есть сауна? Или вы в город едете?

— Ну, ты даёшь, Ваня! Ты как из пещеры вылез. К нашей поселковой бане пристроили новое помещение под сауны. На прошлой неделе открылись. Глава администрации ленточку разрезал.

— Не пойму, несколько саун, что ли?

— Вот, ёжкин ты кот, Ваня. Там несколько кабинок под сауны. Покупаешь билет и паришься вместе женой. Общая-то баня раздельная для мужчин и женщин.

— И никого к вам не подселят? Так вдвоём и будете?

— Ваня, ты меня уже и без сауны запарил. Купи билет и сходи, — сам всё узнаешь.

Иван заулыбался, повеселел, обнял сослуживца и выскочил из кабинета.

Машутка все последующие дни не спрашивала о подарке — это радовало Ивана. Ведь он хотел сделать ей сюрприз. Какой же это будет сюрприз, если о нём заранее рассказать. И он молчал.

Накануне дня своего рождения жена попросила затопить баню. В прошлом году Иван купил по дешёвке маленький вагончик, поставил его в конце огорода, обшил внутри деревянными рейками, соорудил полки́, в углу поставил буржуйку, на неё водрузил котёл для воды, вокруг котла уложил камни для лучшего разогрева бани, воды и пара, вывел дымовую трубу на улицу. Получилась небольшая, но славная банька. «Всё лучше, чем толкаться в общей поселковой», — рассудил Иван, довольный своей работой, а ещё больше тем, что баня привела в восторг Машу. Она целый день нахваливала и баньку, и Ваню.

— Машутка, я не могу сегодня затопить баню.

— Это почему же? — удивилась жена.

— Видишь ли, буржуйка в одном месте прогорела, нужно отвести её к сварщику, поставить заплатку на дыру, — соврал Иван, не глядя на Машу.

— Да, а я и не заметила. Когда это она успела продырявиться? Схожу, посмотрю.

— Не ходи, — рукой остановил жену Иван и продолжал врать, — я уже отвёз её сварщику.

— Когда же ты успел? То нужно тебе отвозить, то уже не нужно. Тебя не поймешь. Да ну тебя, — в сердцах махнула она рукой, но тут же крутнулась, как юла, на одной ноге и, замурлыкав песню, захлопотала по дому, словно белочка на ветке. Вот она в одном месте что-то убирает, мгновение — и уже в другом моет, протирает. Иван ещё полюбовался своей красавицей Машуткой и пошёл заниматься делами во дворе. Как говорят: «Дом не велик, а сидеть не велит».

Утром Ваня торжественно вручил жене билет в сауну. Он волновался, как она воспримет этот необычный подарок? Но Маша была в восторге! Сюрприз удался!

Супруги явились в баню, как было указано в билете, к 14 часам. В тесном коридоре сидели и стояли люди, бегали туда-сюда дети. Взрослые иногда шикали на детей, но сами шумели ещё сильнее. Со всех сторон слышались громкая речь, смех и возня. В узком проходе одни толкались, чтобы зайти в баню, когда оче-

редников пропускала по счёту банщица, а другие, вымытые и распаренные, вальяжно выплывали из бани.

Иван с Машуткой в новом крыле коридора нашли свой номер, дёрнули за ручку — закрыто, — значит, там есть ещё люди — и сели ждать. До двух часов оставалось 10 минут. За разговором время пробежало быстро. Из сауны никто не вышел. Они посидели ещё 5 минут. Никого.

— Маша, я схожу и узнаю, когда же освободится наша кабинка.

Иван ушёл и пропал. Маша посмотрела на часы, прошло ещё 10 минут. Наконец-то пришёл Иван, он был явно расстроен, но пытался не подать вида.

— Ничего, Машутка, сейчас зайдём, я тебя напарю и будешь сиять, как медный самовар, — пытался шутить муж. Из-за двери сауны слышались громкие, явно нетрезвые голоса. Иван осторожно постучал в дверь убр. зап. — никакой реакции. Он постучал громче — ничего не изменилось.

— Ваня, может им там ничего не слышно? Что тебе сказали банщица или кассирша? — робко спросила Маша.

— Кассиршу я так и не дождался, а банщица буркнула — ждите, мне сейчас некогда.

Иван встал спиной к двери сауны и начал колотить по ней пяткой. На часах была уже половина третьего. Париться и купаться оставалось полчаса.

— Вань, может, ну её, сауну. Пойдем домой, — умоляла Машутка мужа, но остановить его уже было невозможно.

В конце коридора показалась банщица, она ещё издали закричала:

— Что вы там безобразничаете? Я вызову полицию!

Когда подошла поближе и увидела Ивана, то удивлённо спросила:

— Как, вы ещё не зашли в сауну?

— Как видите, уважаемая, — язвительно ответил ей Иван.

— Что вы нервничаете, сейчас люди выйдут, и вы зайдёте.

И действительно, скоро дверь распахнулась. Из неё вывалились два полураздетых парня и две полуголые девицы. Шатаясь и поддерживая друг друга, они с трудом добрели до выхода. Банщица устремилась за ними. «Наверное, пошла вытряхивать из них деньги за лишние 30 минут купания», — промелькнуло в голове Ивана. Банщицы всё не было. Время совсем поджимало. Супруги несмело заглянули внутрь сауны. По центру комнаты стоял стол, заваленный пустыми бутылками и объедками еды. Иван отодвинул его к стене, подальше от вешалки. Хотел закрыть дверь на запор, но он оказался сломан, видно, предыдущей компанией. Пришлось её просто прикрыть. Они быстро разделись и прошли во вторую малюсенькую комнатку — сауну. Слева у стены громоздились деревянные полки́ в два ряда, а в двух шагах справа — душ. Машутка сразу залезла на верхнюю полку погреться, а Иван встал под душ. Времени оставалось мало, нужно успеть помыться. Иван нещадно тёр тело мочалкой, кряхтя и посапывая. Тепло сауны сняло напряжение, настроение улучшилось, и он весело спросил:

— Машутка, как тебе сауна? Немного странная, но ничего, пойдет,.. — весело проговорил Иван, поглядывая на жену. Она молчала. Недавние неприятные впечатления постепенно улетучивались под действием обжигающего воздуха сауны, тело расслабилось, говорить не хотелось.

Что-то мурлыча себе под нос, Иван щедро намыливал голову, лицо, шею и растопыренными пальцами, как граблями, драл кожу на голове, словно сто лет не мылся. Вдруг кто-то толкнул его в живот, и сердитый, незнакомый, хриплый голос сказал:

— Подвынься, мэни трэба воды набраты.

— Кто тут? — испуганно спросил Иван, роняя кусок мыла на пол и машинально отступая на шаг в сторону.

— Дальше видступы, — приказывал всё тот же голос командирским тоном.

— Что вы здесь делаете? — послышался с полки возмущённый голос жены.

Иван был обескуражен и сбит с толку, так как ничего не видел из-за мыла на лице, а смыть его не мог, потому что отошёл от душа, повинуясь чьим-то приказам.

— Немедленно выйдите отсюда! — повысила голос Маша.

— Ось прям зараз и выскочила! Я на рабочому мисти прэбуваю! Мэни трэба вымыты баню! Якого ляха вы зайшлы в немыту кимнату? У коридори вже люды сидять на 15 часив по графику. Им шо, ждаты, колы вы тут наплещетесь у волю? А вам вже остается 7 мынут, — посмотрев на наручные часы, издевательским тоном прошипел всё тот же неприятный голос. — Ну, ты шо, нэ можешь видыйты подале?! Я нэ можу пидыйты до воды! — разорялась и толкалась всё та же особа с хриплым голосом.

У Ивана от такой наглости и внутреннего возмущения пропал дар речи. Одной рукой он прикрывал оголённое своё «богатство», а другой старался нащупать струи душа, чтобы смыть наконец-то мыло с лица. Он осторожно шагнул в сторону, но «по закону подлости» пяткой наступил на мыло и… потерял равновесие. Он судорожно искал руками опору, но в тот же миг его обхватило что-то тёплое и мягкое.

— Який же ты роззява, молодый чоловик. Ось, чому я должна тэбэ дэржаты? Ты пьяный, чи шо? — разорялась женщина, крепко удерживая его в объятиях. Иван упирался и брыкался, пытаясь нащупать ногами опору. Но её не было, под ногами ощущалась пустота.

— Немедленно поставьте моего мужа на пол! Что вы его лапаете? Уберите свои руки от него! — командовала с высоты Машуня.

Иван, превозмогая резь в глазах от мыла, открыл один глаз. Его держала в объятьях огромного размера бабища в халате неопределённого цвета и в косынке, надвинутой на глаза.

— Кто вы? — ошалевшим голосом прокричал Иван, наконец-то обретя дар речи и брызгая мылом в лицо незнакомки, которая продолжала прижимать его к себе, уткнувшись своей широкой розовой щекой в его мыльный нос.

— Бисова твоя душа, ты шо, стояты нэ можешь? На кой ляд я дэржу тэбэ?

— Вы кто? — тоже хрипло задал Иван глупый вопрос ещё раз, уже не замечая рези в глазах и, наверное, действительно поглупев от несуразности своего положения. Но, наконец-то, он освободился от объятий крепких рук и отскочил в сторону.

— Дурэнь ты, вот шо! — грубо ответила глыба жира, лишь отдалённо напоминающая женщину. Она, как ни в чём не бывало, наклонилась, поставила ведро под душ и стала наполнять его водой.

— Всё, Ваня, собираемся, уходим. Машутка решительно направилась в первую комнату к раздевалке. Иван замешкался, а мыло на теле? Глаза нещадно щипало. Он несмело спросил:

— Извините, а можно мне промыть глаза? Мыло, знаете ли, … залезло…

— Та шо, мэни воды жалко, чи шо? Мыйся, — услужливо сказала глыба, с трудом отодвигаясь в сторону.

Когда Иван с Машуткой возвращались домой, начался настоящий снежный хоровод. Лёгкий ветерок подхватывал пушистые невесомые хлопья и кружил, кружил их, как в танце.

— Ванечка, посмотри какая красота! — тормошила мужа Маша, — Снег-то какой, Ваня!

Иван шёл хмурый. Ему было стыдно за такой сюрприз ко дню рождения жены. Он молчал и не поднимал глаз.

— Ваня, да ну её эту сауну! Брось, не расстраивайся. Посмотри, какой снег-то! Жаль, что печка продырявилась, а то натопили бы баньку, напарились, накупались бы вволю. Посмотри, Ваня, снег-то какой!

— Да дома она, печурка наша, и не прогорала вовсе.

— Вот и хорошо, что целая. Ванечка, снег-то, снег какой!

Знаток любви

«Истинная любовь похожа на привидение:
все о ней говорят, но мало, кто её видел»
Франсуа Ларошфуко

На завалинке покосившейся, облезлой, давно не крашенной избы, сидел старый дед Парамон и попыхивал едким дымом самокрутки. Он не любил современные сигареты. «Их курить, что конфеты жевать», — говорил дед, когда его угощали сигаретами в красивой, дорогой упаковке.

— Самокрутка с табачком — это да! За душу берёт! Всё нутро перевернёт и на место опять поставит. Вот это и приятно! Вот это да! — расхваливал дед свой табак.

Разговорчивый балагур Парамон нередко собирал вокруг себя изрядное число праздных слушателей. В такие минуты он преображался, молодел, речь его текла складно и бойко. Но сельчане, хоть и любили слушать деда, но мало верили в его россказни, считая их трёпом, поэтому и слыл он деревенским брехуном.

Последние осенние тёплые денёчки. Листва уже почти осыпалась, и деревья стояли голые, с одиноко дрожащими на лёгком ветерке, редкими жёлтыми листьями.

— Деревья-то, будто в баню собрались, разделись, — вслух сам себе бурчал дед и вытянул вперед ноги, обутые в валенки, подставляя их под лучи уже не жаркого, но ещё тёплого осеннего солнца.

— Погода-то вёдренная какая стоит, ни облачка, — продолжал бормотать Парамон, щурясь и всматриваясь в чистое неяркое небо. Ему было скучно. Он крутил головой то вправо, то влево, высматривая подслеповатыми глазами какого-нибудь случайного собеседника. Но улица с длинными рядами заборов была пустынна и непривычно тиха.

— Да, тихо, как в погребе, — продолжал бубнить дед. — Одно слово — бабье лето! Все урожай, поди, собирают.

— Привет, дед Парамон! — прокричал ему кто-то почти в ухо. Дед от неожиданности так подпрыгнул на завалинке, что чуть не свалился на землю.

— Ах, ты, оглашенный! Что орёшь, как бешеный! Перепугал до смерти! — покосился Парамон на неизвестно откуда появившегося соседского паренька Ваньку.

— А я смотрю, — сидишь и крутишь головой в разные стороны, как сова на ветке. И слепой такой же, как она днём. Одно отличие между вами — сова зоркая ночью, а ты слепой хоть днём, хоть ночью.

— Ишь, ты, зрячий больно да зоркий выискался! — радостно встрепенулся Парамон, растягивая бесцветные губы в тонкую извилистую улыбку, которая пряталась то в глубоких морщинах, то в седой щетине давно не бритых щёк.

— Дед, а что ты там про баб говорил? — поинтересовался Ванька, улыбаясь и подсаживаясь поближе к Парамону на завалинку в предвкушении очередной дедовой байки.

— Про каких баб? — удивленно и весело спросил Парамон, распрямляясь в спине и ещё крепче опираясь на палку одной рукой, а другой поднося к беззубому рту самодельную цигарку. Он не столько курил, сколько плямкал и жевал губами мокрую от слюны газету, из которой была сделана самокрутка, отчего она сильно походила на пожёванный кляп.

— Про каких таких баб? — снова спросил Парамон, лукаво посматривая на желанного слушателя. — Это про твою Аньку, что ли?

— Про какую Аньку?! Что ты несёшь? — Ванька исподлобья зыркнул на деда глазами и отодвинулся от него.

Парамон же усмехнулся, попыхивая дымком, и не спеша продолжил:

— Слыхивал я всякие разговоры про тебя да про твою Аньку.

— Какая она моя?! Ты что с сеновала свалился и головой о пол ударился? Подумаешь, пару раз всего-то и проводил её домой после кино, — снова возмутился Ванька и отвернулся в сторону. Заметив на земле куриное пёрышко, он поднял его и деланно равнодушно стал щекотать им себе под носом. Щекотка пробрала, и он рассмеялся.

— Дед, ты что придуриваешься? Когда я к тебе подошёл, ты говорил про каких-то баб и про лето, — смеясь, говорил Ванька, водя себе под носом пером.

Парамон озорно глянул на молодого соседа, выбросил обсосанную самокрутку, опёрся двумя руками на палку и серьёзно произнёс:

— Это я, Ваня, говорил о любви к бабам. Самая у них сейчас забота — уборка огородов да запасы на зиму делать. Люблю я, Ваня, баб наших.

Ванька разочарованно посмотрел на Парамона, смяв в руках перо.

— Что ты, дед, понимаешь в любви-то? У тебя разве жена была когда-нибудь? Наверное, бобылём так и прожил всю жизнь? Ты, дед, в любви ничего не понимаешь! — уверенно изрёк Ванька, поднимаясь с завалинки и собираясь уходить, но вдруг остановился и спросил:

— Значит, говоришь, что баб любишь? Тогда скажи мне, что такое любовь? Что это слово значит?

Парамон с интересом поднял глаза на собеседника, прищурился, с трудом подтянул к себе поближе вытянутые ноги, зажал между худыми острыми коленками сучковатую палку, почесал за ухом, хмыкнул то ли для порядка, то ли для придания себе солидности.

Ванька заёрзал на завалинке, шмыгнул носом, взъерошил и без того лохматые, белобрысые, давно не стриженные волосы и приготовился ждать ответа.

— Любовь, Ваня, это целая наука. Любить нужно сердцем. Любовь без сердца ничего не значит.

— Я же говорю, дед, ничего ты не понимаешь в любви, при чём здесь сердце? Если всех любить сердцем, то его ненадолго хватит, — Ванька с сочувствием глянул на Парамона, который вдруг закашлялся, затрясся всем телом, потом с трудом отдышался и хрипло сказал:

— Тебе сердца жалко? Значит ты, внучек, ещё не любил.

— Вот это и есть любовь? — горячился Ванька и нелепо размахивал худыми руками, напоминая длинноногую цаплю на болоте, которая, собираясь взлететь, так же размахивает крыльями.

А Парамон сворачивал новую самокрутку толстыми, негнущимися пальцами. Он недолго молчал. Повернулся и громко, как говорят с глухими, сказал:

— В любви нужно гореть! Теперь в любви уж не горят! Я помню, дед мой рассказывал, как одна молодуха так сильно полюбила парня, что вспыхнула, как факел, так заживо и сгорела. Вот так сказывали. А нынче что? Из кина проводил — вот тебе и вся любовь.

Щеки у Ваньки порозовели, глаза округлились, тело его напряглось, руки крепко вцепились в край завалинки, рот в гневе открылся, и он натужно выдавил из себя:

— Врёшь, дед! Ведь врёшь же?!

— Ей Богу, не вру! — будто испугавшись, отстранился Парамон и размашисто перекрестился. — Как слышал сам, так и рассказываю. В любви, Ваня, должен быть жар, как в бане. Сказывали, в бане, ух, какая любовь бывает! Вот только осторожно нужно в бане-то. Слышал, чай, что в бане банники водятся? Бабка мне рассказывала, что в её деревне муж с женой пошли в баню мыться после полуночи, — Парамон прервал рассказ, снова прикурил самокрутку, потом закатил глаза, улыбнулся и продолжил:

— Ты же знаешь, что после полуночи баня уже не людская?

— А чья? — удивился Ванька, всем телом подавшись к деду.

— Нечистая сила моется в бане после полуночи, — тихо прошептал дед, наклоняясь к молодому соседу и касаясь своим плечом его руки.

— Брехло ты, вот брехло! — почти прокричал Ванька, резко отшатнувшись от деда и больно ударившись затылком о стену избы.

Ванька взвыл от боли, а Парамон спокойно продолжил свой рассказ.

— Всё это правда. Слушай дальше. Так вот, пришли они в баню, стали мыться, а тут банник из-под полка вылез и давай хлестать их веником. Веником хлещет да пару всё поддает. Уж, и дышать-то им совсем стало нечем, и силы-то у них уже не было помощи позвать. А банник всё хлещет да хлещет. Так до смерти их и захлестал. Утром пришли домочадцы в баню, а они голубочки уже мёртвые лежат. Вот он какой, этот банник!

— Враки всё это! Сами, наверное, угорели в бане, вот и помёрли. А может, и не помёрли вовсе. Всё это брехня, — махнул Ванька рукой на Парамона. — Хитрый ты, дед. При чём здесь баня, если я про любовь спрашиваю? На мой вопрос ты так и не ответил, что же такое любовь?

— Любовь, Ваня — это когда душа болит. Любви без боли не бывает. Любовь — это когда такая тоска возьмет, что готов и горы свернуть ради этой любви.

— Ну, ты, дед, и даёшь! Боль, тоска — разве это любовь? У нашей коровы Милки ты бы видел, какие огромные и тоскливые глаза. Получается, что Милка наша всегда влюблённая? В кого же это, интересно спросить? В быка из соседней деревни, что ли? Смешно, дед. Лучше я пойду, — ухмыляясь, лениво проговорил Ванька, но Парамон его остановил.

— Нет, Ваня, ты послушай. Мне двоюродная бабка сказывала, что жили когда-то муж с женой. Хорошо жили, любили друг друга. Но однажды в жену влюбился Кощей, украл её и увёз в свои хоромы.

— Дед, Кощеи не существуют — это тоже сказки! — взорвался Ванька, прерывая рассказ Парамона.

Дед засуетился, заторопился.

— Нет, нет, ты послушай! Это сейчас Кощеев нет, а раньше они среди людей жили. Так вот, увёз он чужую жену в свои хоромы. Муж узнал об этом, и одолела его тоска, такая сильная тоска; и так заболела у него душа, что решил он, во что бы то ни стало, вернуть свою жену домой. Но как Кощея-то одолеть? Делать нечего, сел он на коня и поскакал сражаться с Кощеем, выручать свою любимую.

Ванька громко рассмеялся:

— А почему он на коне поскакал, а не на мотоцикле или, вообще, на машине? На машине, дед, согласись, современнее будет твоё враньё.

— Нет, на коне, — ничуть не обидевшись на ехидные слова парня, продолжал Парамон. — Три дня и три ночи бился он с Кощеем, но никак не мог его одолеть. На четвёртый день вспомнил он о проклятии, про которое говорила ему мать. Мол, это проклятие может погубить любого врага и даже Кощея. И когда на четвёртый день он встретился с Кощеем ещё раз, то громко произнёс это проклятие. Кощей вдруг остолбенел и свалился замертво с лошади. Вот что значит любовь, Ваня.

Парамон хлопнул ладонью себя по коленке, утвердительно качнул головой, а потом, с любопытством заглядывая в глаза Ваньки, спросил:

— Тебя тоска по Аньке гложет? Душа болит? — Дед улыбнулся, в его полузакрытых глазах сверкнул и потух осенний лучик, словно утонул в серой мути старого пруда. Минутное оживление сменилось вялостью. Он снова сгорбился, налег на клюку и замолчал.

— Врун ты, дед! Брехуном был, брехуном и остался. Я тебя о любви спрашиваю, а ты мне о тоске рассказываешь, о болезни души. Ещё и Кощея сюда приплел. Кощеи они, если и жили среди людей, то давно уже, как мамонты, вымерли.

Парамон молчал, жевал губами давно уже потухшую самокрутку. Корявые руки тяжело лежали на такой же, сучковатой, как руки, палке.

— Да, Ванька, видно, что ты ещё не любил. Не знаешь, как любовь-то дорога.

— Приехали, дед. Ты уже цену любви ставишь? Ну, и сколько же она стоит? — язвительно засмеялся Ванька.

— Да ничего, когда не дорога. Любовь — дешёвка, ничего не стоит.

— Всё, дед, ты меня достал! Что ты понимаешь?! Что ты знаешь о любви?! — заорал Ванька. Вскочил на ноги и, наклонившись над Парамоном, прошипел:

— Бобыль проклятый!

Дед продолжал спокойно сидеть, то ли не слыша Ванькиных слов, то ли делая вид, что не слышит. Его речь, как спокойный ручеёк, размеренно потекла дальше.

— За настоящую любовь, Ваня, можно и жизнь отдать. Любовь без жертвы — это не любовь. Вот жили как-то парень с девушкой. Очень любили они друг друга и собирались пожениться. Со стороны жениха уже и сваты присланы были, и смотрины прошли успешно.

Ванька нетерпеливо, с издёвкой, прервал Парамона:

— Что, опять бабкины выдумки? Хватит, дед, языком чесать.

— Нет, Ваня, это вовсе не выдумки, а быль. Её мне моя мать-покойница рассказала. Так вот, любили они друг друга очень сильно. А год тогда тяжёлый был, високосный. Много людей в тот год помёрло. И вот накануне свадьбы пришла в дом к жениху злобная Хвороба, взяла его на руки и унесла в свою избу, а там приковала его цепями к кровати. Узнала об этом невеста, всю ночь проплакала, а наутро решила: «Не отдам суженого своего Хворобе проклятой!» Оделась и пошла в дом Хворобы.

— Что?! Куда она пошла?! — фыркнул Ванька, — Дед, как же это можно к хворобе пойти? Хвороба — это же болезнь, а не человек тебе. Снова чушь буровишь?! Врун ты!

Парамон поднял лицо к небу, подставляя его под ласковые лучи солнца и не оборачиваясь к собеседнику, будто самому себе или кому-то там наверху, продолжал:

— Она уж и так, и сяк уговаривала Хворобу отдать ей жениха. Но та ни в какую, возьму себе его и всё тут. Невеста в отчаянии кинулась на Хворобу с боем, но она не отступает, защищается — то холодом морозит, то жаром иссушает. Всё терпит бедная девушка, не сдаётся, но как победить, не знает. И вдруг она вспомнила о живительной силе огня. Выхватила горящую головёшку из печки и с головы до ног окутала этим пламенем злобную Хворобу. Та вспыхнула и испарилась. А молодые сыграли свадьбу и потом много лет жили в любви и согласии.

Парамон затих, по-прежнему вглядываясь в блёклую высь такими же выцветшими белёсыми глазами, как и осеннее небо. Потом он будто встрепенулся, искоса посмотрел на Ваньку и сказал, словно выдохнул:

— Вот оно, поди ж ты как... — Вздохнул, с кряхтением вытянул вперед затёкшие ноги, затем откинулся спиной на стену избы, наклонил голову и закрыл глаза.

— Дед, какая-то любовь у тебя получается сказочная. Ты знаешь любовь только по сказкам, а в жизни о любви ничего не понимаешь. Ты только прикидываешься, будто всё знаешь про любовь, — Ванька с жалостью смотрел на Парамона, который продолжал сидеть с закрытыми глазами и казался спящим. И только руки его, лёжа на клюке одна на другой, легонько подрагивали, а пальцы шевелились, как клешни у раков.

Неожиданно Парамон поднял голову, словно очнулся от сна. Положил тяжёлую руку Ваньке на плечо, пододвинул его к себе поближе, приблизил своё морщинистое лицо к Ванькиному, обдав того крепким запахом махорки, и тихо проронил ему в ухо:

— Ваня, любовь требует жертвы и верности. Вот! — он резко выпрямился, постучал палкой по земле, словно желая придать ещё большую убедительность своим словам, и вдруг замолчал. Ничего не видящий взгляд его смотрел куда-то далеко вперёд, а мысли улетали в прошлое. И так далеко, что не увидеть, не дотянуться и не дойти до них.

— Эх, жизнь... — тяжело выдавил из себя Парамон.

Дед немного посидел молча и снова продолжил:

— Спрашиваешь, что любовь значит? А что она значит, если её предашь? И всё, и ничего. Вот так! Ладно, иди, Ваня, устал я. Как придёт к тебе любовь, сам всё поймёшь. Всему свой черёд. Иди с Богом!

Парамон махнул Ваньке рукой так, будто отмахнулся от чего-то, снова опустил голову, прикрыл глаза, ссутулился и тяжело налег на палку-клюку.

Ванька, так и не понявший, что же такое любовь, беззаботно пошёл к сельскому клубу, где он снова встретится с Анькой. А после фильма опять пойдёт провожать её домой. И он уже совершенно не задумывался: а если это любовь? Да и зачем ему сейчас об этом думать. Как сказал дед Парамон: «Всему своё время и свой черёд».

Они живые

«Любовь к природе — признак морального здоровья человека»
Конфуций

В этом году весна скоротечная. На деревьях и кустарниках рано набухли почки. Дети и подростки, как горох, высыпали на улицы. Да и как усидеть дома, если за окном тёплые солнечные лучи в голубом, почти прозрачном небе, а в ветках деревьев уже шумно хлопочут птицы. Наконец-то можно снять тяжёлую зимнюю одежду и почувствовать себя легко и свободно, точно ты в невесомости.

Но не успели люди насладиться весенними погожими днями, как снова стало холодно, небо покрылось дымкой, подул студёный ветер. И вдруг неожиданно зацвела черёмуха. Среди ещё голых деревьев и кустарников её пышное снежно-белое цветение явилось миру, как взрыв, как чудо.

В народе давно замечено, что она зацветает в сильные весенние похолодания, их так и называют: «черёмуховые холода».

И вот, в такой холодный день после потепления, старшеклассница Соня шла из школы домой. Зимняя одежда уже убрана в шкаф, поэтому она на ходу куталась в новый, лёгкий, продуваемый ветром кардиган и спешила быстрей дойти до дома. Вечерело. Внезапно позади послышались шаги. Её догонял Митька, ученик параллельного класса.

— Здорово, клуха, — Митька оценивающе посмотрел на Соню. — Клёво!

— Сам ты клуха, — обиделась Соня, но в долгу не осталась, — а ты лось, тормоз и удод.

— Пипец! Радуйся, что ты чувиха, а не чувак. Щас бы хряк-нул тебе по чайнику, но головняка не хочется. Зашибись, какой я сегодня добрый!

Так, во взаимной перепалке, они и шли. Но внезапно их остановил очень сильный, медово-цветочный аромат, который, словно густой туман, тянулся из сада за палисадником. Этот приятный и сильный запах, как фимиам, невольно проникал в нос и бальзамом растекался по телу. Соня с Митькой внезапно разом остановились, опёрлись о штакетник и залюбовались яркими кистями белых цветов на фоне чёрноты кустов вечернего сада. Мраморно-белый куст и душистое благоухание вокруг него казались чем-то волшебным и неземным.

— Сонька, глянь, какая офигенная черёмуха! — ахнул Митька.

Он в один прыжок взлез на деревянную изгородь, и его кудлатая голова потонула в цветах.

— Ништяк, клёвый духан! Сонька, я на халяву тебе сейчас такой букетище нарву, ваще очумеешь, — хвастался он, довольный собой.

— Митька, мне не нужны цветы черёмухи, не ломай ветки. Им больно! Они живые! Прошу тебя!

— Сонька, ты что — двинутая? Прикол — живые! А мне по барабану! Сонька, это просто отпад! Опупеть! — восторгался Митька, балансируя на хлипкой перекладине, как акробат в цирке. Озираясь по сторонам, он торопливо ломал цветущие ветки кустарника. Белые мелкие цветочки живым снегом просыпались на зелёную весеннюю траву.

— Ты варвар! Ты чудовище! Немедленно слезь с забора! — уже не умоляла, а требовала Соня, с трудом сдерживая слёзы. Она потянула Митьку за штанину — никакой реакции. Со всей силы ухватилась за тонкую трикотажную ткань и рванула к себе. — Слазь, кому сказала!

Митька от неожиданности потерял равновесие. Пытаясь устоять, он раскачивался в разные стороны, размахивая руками. Шаткий забор под его ногами затрещал, покосился и рухнул вместе с Митькой на Соню, прижав её к земле. Всё произошло так быстро, что она не успела отскочить в сторону.

— Ой! Ай! Больно! Чокнутый дурак!

— Стопудово угар, хренов забор! — ругался Митька и продолжал лежать на заборе, который, в свою очередь, лежал на Соне.

— Митька, слезь с забора! Ногу придавил! Больно, сил нет!

Митька быстро поднялся, высвободил Соню.

— Как башня? — заботливо спросил нежданный кавалер.

— Какая башня?

— Ну, кочан?

— Какой кочан?

— Ну, репа?

— Какая репа, ты дурак?

— Отстой! Ты что, не русская? Я спрашиваю, как башка, не болит? — продолжал заботиться ухажёр.

Соня не ответила, у неё сильно болела ушибленная нога.

Митька не унимался:

— Чо, клёво было под забором? Ништяк, Сонька, всё заживёт до свадьбы, — заржал Митька, собирая разбросанные по траве цветы черёмухи.

— Дурак ты! А я тебе штаны порвала, — засмеялась Соня, показывая пальцем на голую Митькину ногу, едва прикрытую лохмотьями ткани.

— А, фигня! Мне пофиг! Одним словом, фиолетово, — развязно и нарочито равнодушно изрёк он. Быстро стрельнул глазами на Соню и, растягивая слова, продолжил, — Слышь, а давай замутим? Ты прикольная, я ваще отпад. Потусим? — уверенный в своей неотразимости, спросил Митька.

— Ты чокнутый, а не отпад.

Она пыталась наступить на раненую ногу, но боль сковала движения. Соня хмурилась и морщилась от боли и досады.

— Сонька, ты точняк сломала ногу, — заметив её неумелые движения, засмеялся Митька. — А я думал, что мы сегодня позажигаем, послушаем музончик, покайфуем.

— Митька, я не понимаю, что ты ко мне привязался? Что ты ко мне лезешь? — раздражённо выпалила она, пытаясь выпрямить ногу. — Шёл бы ты куда подальше.

— Это я к тебе привязался? Клёво! Офигенно! Нафига я вытаскивал тебя из-под забора? Запарился тащить такую корову.

— Митька, сгинь с моих глаз! Что бы я тебя больше никогда не видела, — заявила она в тон своему попутчику.

— Ну и досвидос, чувиха, — Митька сунул в Сонины руки потрёпанный букет черёмухи и усмехнулся, — Зашибись, однако, круто потусовали. Я делаю ноги, Сонька. Покедова...

Улыбаясь, он хлопнул в ладоши, потом по коленям, раскинул руки в стороны и крикнул: «Ништяк! Браво!», — картинно поклонился, делая вид, что снимает шляпу, расшаркался голой ногой и, не оглядываясь, пошёл вдоль улицы, подметая дорогу оторванной штаниной.

— Вали, вали, чокнутый клоун!

— Хорэ кидать понты, тёлка!

— Сам ты!.. Сам ты!.. — Соня не могла найти нужное слово и крикнула первое, что пришло в голову. — Шибздик!

Митька издалека что-то крикнул, но она не слышала, ей было не до него.

Соня с трудом добралась до своего дома. Поставила в вазу букет с повисшими цветами. Чтобы согреться, залезла на диван под плед, согнувшись калачиком, и наблюдала, как постепенно оживают черёмуховые ветки.

На память пришли события, которые произошли в её семье, когда она была ещё ребёнком.

Печально, но все люди когда-то умирают. Однажды умер совсем не старый дядя Сониной мамы. Он жил со своей женой (детей у них не было) на хуторе, состоящем из пяти жилых одноэтажных домов, конюшни для лошадей и волов, а ещё лесопилки, где Яков (так звали дядю) был управляющим. Рядом с его домом раскинулся большой приусадебный участок с фруктовым садом, огородом, пасекой и сараями для скота и птицы. Яков с женой были трудолюбивыми людьми и содержали своё хозяйство в ухоженном состоянии.

На похоронах было многолюдно — Яков был уважаемым человеком.

Стояло ясное, солнечное лето. Казалось, мир наслаждался тишиной и покоем. Но в этом кажущемся блаженстве стало происходить что-то странное и необъяснимое. На глазах многочисленных свидетелей листья на деревьях в саду Якова стали чернеть, скручиваться и сохнуть. Спустя какое-то время все деревья стояли чёрные, с неживыми и хрупкими листьями.

Соня, как и другие люди, трогала эти, ещё недавно зелёные листочки, которые теперь стали сморщенными и безжизненными, висели, словно чёрные тряпочки.

Так оделся в траур и так простился с Яковом его сад.

— А говорят, что растения не живые. Неправда, они живые, — сквозь дрёму подумала Соня и крепко уснула.

Место под солнцем

Всего-то половинка любви —
Любовь без ответа, —
Но разве она пылает не ярче
Слепящего солнца
В высоком небе?

Акико Ёсано

Прочитав этот рассказ, вы можете усомниться в его правдивости. Но история, которую я хочу рассказать, действительно произошла в моей жизни, случившись, правда, не со мной, а с моей кошкой.

Кошка была удивительная.

Появилась она в нашем доме самым банальным образом. Так появляются бездомные животные в домах, где есть маленькие дети с открытыми настежь сердцами.

Однажды осенним дождливым днём моя десятилетняя дочка Валечка пришла из школы и с порога позвала:

— Мама, иди сюда.

Голос её дрожал. Я торопливо пошла к двери, на ходу думая, что дочка, наверное, сильно промокла и замёрзла. И тут я услышала громкое мяуканье… Хотя нет, скорее это было всхлипывание на самой высокой ноте.

Валечка стояла с широко открытыми глазами, и в них было столько боли, что я застыла на месте.

— Мама, посмотри, он же замёрз, бедненький.

Слезы ручьями полились по её густо-розовым с холода щекам. Девочка умоляюще смотрела на меня, протягивая руки, на которых лежал маленький с мокрой шерсткой котёнок. Он дрожал и время от времени громко попискивал, как бы взывая к помощи. Было даже удивительным, как такое маленькое существо могло издавать столь громкие звуки. «Услышьте, люди!» — будто вопило замерзшее тельце.

Я не любила кошек в доме, они казались мне источником антисанитарии. Но у Валечки были такие умоляющие глаза, а котёнок так отчаянно пищал, что я сдалась.

Дочка, не дожидаясь моего согласия, а может, почувствовав его, уже бежала с найдёнышем по коридору в свою комнату. Я принесла старое полотенце, чтобы обсушить и обогреть котёнка. Когда он высох, то превратился в маленький пушистый «шарик» с большими зелеными глазами. Согревшись, он попил тёплого молока, успокоился, затих и уснул на мягком кукольном матрасике…

Так в нашем доме появилась кошка. Дочка назвала ее Лизой.

Лиза была ласковая и послушная. Мы все в ней души не чаяли. Питомица выросла и постепенно приручила всех домочадцев. Не хотел приручаться только один член нашей семьи — овчарка Герда, ещё молодая, шаловливая, весёлая собака. Ей было чуть больше года, и она жила во дворе в будке неподалеку от крыльца.

Лиза очень любила полежать на крыльце и понежиться на солнышке. Но Герду раздражало появление её во дворе, она лаяла и рычала. — Кошке приходилось скрываться от собаки в доме, но заманчивое солнышко вновь и вновь, словно магнитом, тянуло Лизу на крыльцо. Она чаще и чаще стала появляться на ступеньках. Герде это явно не нравилось, но постепенно она стала привыкать к солнечным моционам кошки. Правда, не дай бог, было ступить хотя бы ногой на дорожку, ведущую в сторону будки!.. В таких случаях Лизу спасали только её быстрые ноги.

Весной я стала замечать, что Валечкина «находка» часами сидит на крыльце, изредка поглядывая в сторону будки. Но я не придала тогда особого значения этим кошкиным посиделкам. Тем более я не могла подумать, что Лиза придумывает план действия…

В один из тёплых майских дней я готовила обед на кухне, окно в которой было открыто и выходило во двор, где и стояла будка. Неожиданно я услышала странный шум, не похожий ни на

лай собаки, ни на мяуканье кошки. Это было слияние шипящих, визжащих, воющих и ещё других, не поддающихся описанию, но страшных и зловещих звуков.

Я выглянула в окно и остолбенела. Какое-то непонятное существо с развевающейся гривой, как цирковая лошадь, носилось кругами по двору с бешеной скоростью, издавая при этом целый сонм звуков. Этот кто-то периодически натыкался на разные препятствия и, казалось бы, что это должно его остановить, но не тут-то было. Издав одновременно визг обезьяны, шипение змеи и рычание льва, оно понеслось по двору с ещё большей скоростью. Я застыла на месте, потеряв дар речи. Не в силах вымолвить хоть слово, я молча наблюдала за бешеной скачкой непонятного зверя…

Приобретя наконец-то дар движения, забыв про борщ на плите, я побежала во двор, второпях не подумав даже о возможной опасности. Я выбежала в центр двора. Это нечто (некто?), в клубах пыли, носилось вокруг меня. В глазах рябило от скорости. Мне уже казалось, что это американские индейцы с криками и гиканьем носились на конях вокруг меня.

«Я схожу с ума», — пронеслось в голове.

Постепенно возвращаясь в реальность, я присмотрелась к безумному существу. Оно странным образом и было, и не было похожим на мою собаку Герду.

«Собака взбесилась, — подумала я. — Но почему у нее падающая и снова поднимающаяся кверху во время движения грива?» Мысли путались в голове.

Было непонятно, почему овчарка постоянно мотает головой из стороны в сторону, как бы пытаясь сбросить с себя что-то. Я с трудом разглядела, что на её шее сидит какое-то чудовище. Оно то подлетало кверху, издавая неземной визг, то шлепалось снова на собаку, пугая и подхлёстывая её. Герда рычала и визжала от страха и боли. «На неё напал какой-то зверь? Что делать?» — ужаснулась я.

Откровенно говоря, я растерялась и не знала, что предпринять, как помочь Герде. Недолго думая, я сделала то, что делать было нельзя. Я побежала наперерез собаке, растопырив руки в разные стороны, пытаясь остановить несчастную. Огромная овчарка всей своей массой налетела на меня, опрокинула на спину и, перепрыгнув через меня, понеслась дальше. Тут уже и я взвыла от боли и досады, села посредине двора, сбитая с толку, а вокруг меня продолжала носиться Герда...

И тут — о, ужас! Во всаднике «с боевым раскрасом» я узнала свою кошку Лизу. Её трехцветная шерсть стояла дыбом, глаза округлились. Передние лапы крепко вонзились когтями в голову Герды, а задние вместе с туловищем взлетали в воздух, а потом со шлепком падали назад. При этом хвост собаки был поджат под живот, а у кошки наоборот торчал кверху и во время бега раскачивался из стороны в сторону, как знамя на ветру. А в самых наивысших точках полёта от страха хвост резко опускался вниз, как кнутом подхлёстывая собаку…

Мои слова и крики тонули в этом адском коловороте. Я пыталась ухватить руками Лизу, но мои пальцы едва успевали почувствовать бархат шерсти. Кошка, будто рыба в воде, мгновенно ускользала от меня.

Все это безумие закончилось ровно тогда, когда захотела этого Лиза. Она отпустила когти и спрыгнула на землю с абсолютной невозмутимостью. Села посредине двора и с любопытством стала следить за собакой. Герда же, наконец-то избавившись от страшной наездницы, с визгом кинулась к будке. Но почему-то не залезла внутрь, а спряталась за неё, откуда с опаской поглядывала на кошку.

Потом произошло то, чего я никак не ожидала от Лизы. Подняв голову и хвост кверху, она с важностью победителя прошествовала мимо крыльца и… ступила на запретную для нее дорожку, ведущую к будке, а затем, подойдя к ней, заглянула вовнутрь и… залезла в неё. Легла там и свесила лапки в деревянном проеме. На её наглой мордашке было полное спокойствие. У меня появи-

лось ощущение, что сидит она вовсе не в чужом доме, а в своем собственном.

Герда же, наоборот, повизгивала, нервничала. Несколько раз пыталась выглянуть из-за угла будки, но каждый раз получала колючей кошачьей лапой по носу. Взвыв, собака снова пряталась. Так продолжалось несколько раз. Напрасно хозяйка пыталась выгнать наглую захватчицу, та каждый раз пускала в ход острые коготочки.

Я с интересом наблюдала, чем же закончится этот поединок, эта борьба за место под солнцем.

Наконец, Лиза медленно, не спеша, с чувством собственного достоинства вышла из будки и прошествовала мимо Герды, даже не удостоив её взглядом. Хвост Лизы продолжал нагло торчать кверху. А собака ещё глубже забилась в угол между будкой и забором, не сводя глаз с победительницы. Когда путь в будку стал свободным, овчарка пулей залетела внутрь. Она высунула наружу голову, и всё существо её выражало опасение нового нападения.

С тех пор, стоило только Лизе выйти во двор, как Герда моментально скрывалась в будке. В эти минуты она, видимо, была горда собой. Ведь её дом так и не был занят врагом. Но кошка теперь могла гулять, где угодно и когда угодно.

Чтобы сохранить в неизменном виде свою завоеванную свободу, Лиза иногда с поддельным равнодушием проходила совсем рядом с Гердой, которая, сидя в будке, сердито рычала на кошку, но из будки не выходила…

Наверное, каждая из них была довольна своим положением…

Пляжная история

Отчего это хромой человек нас не раздражает, а умственно хромающий раздражает? Оттого, что хромой осознаёт, что мы ходим прямо, а умственно хромающий утверждает, что не он, а мы хромаем.

Блез Паскаль

В этом году синоптики не ошиблись, предвещая летнюю аномальную жару на черноморском побережье. Жгучее полуденное пекло изрядно иссушало всё вокруг, не щадя ни людей, ни животных, ни растения.

В такие часы Вероника старалась, если конечно позволяла работа, не выходить на солнцепёк, предпочитая находиться под блаженной прохладой кондиционера. Но такое блаженство выпадало не часто, иногда работать приходилось на улице. Сегодня ей повезло, она вышла из помещения на улицу только тогда, когда жара начала уступать вечерней свежести. Солнце перекатило зенит и медленно двигалось к закату.

Пляж, куда она пришла, был переполнен людьми. Вероника не сразу нашла небольшое галечное пространство, на котором смогла расстелить свой коврик. Разделась и шумно, в фонтане брызг, влетела в голубую, прозрачную воду. Долго купалась, качаясь на невысоких ласковых волнах. На берегу, уставшая и довольная, легла на коврик, подставляя уже не жгучим, но всё ещё тёплым и благодатным лучам своё мокрое и холодное тело.

Вероника — студентка. Она приехала в небольшой черноморский городок подработать в летние каникулы. Устроилась горничной в небольшую частную гостиницу. Решила «поймать сразу двух зайцев» — деньги заработать, а заодно покупаться в море и погреться на южном солнышке.

Но блаженство души и тела внезапно прервалось криками у кромки воды неподалёку от Вероники. Она приподнялась и стала наблюдать за происходящим.

В метрах трёх от берега по пояс в воде стоял мужчина, размахивая руками и извергая из своего нутра целый поток ругательств и оскорблений. Эти «живописные» эпитеты были адресованы стройной брюнетке в красном бикини, которая сидела рядом с Вероникой на надувном матрасе.

— Ты что, гусыня, не можешь приказать своему малолетнему кретину не кидать камни в людей?! — возмущённо кричал мужчина.

— А почему вы выныриваете там, куда кидает камушки мой сын? Вы что, не могли для выныривания найти другое место? Он же не знал, что из воды вылезет какое-то чучело, — парировала оскорбления брюнетка, прижимая к своему бронзово-опалённому солнцем бедру пяти-шестилетнего мальчика.

— Я что, под водой видел, что твой идиот сюда камни швыряет?! — орал мужчина, тыча себе в лоб пальцем, — Посмотри, кикимора, какая шишка у меня на лбу?!

— Вы, мужчина, извините, нравственный урод! Может быть, вы под водой головой об дно ударились, а на ребёнка сваливаете? — всё больше раззадоривалась брюнетка. — Отойдите, отойдите мужчина в сторону! Вы же видите, что мой сын тут кидает камушки. Не можете отойти, так испаритесь! Вы глухой?! Кидай, кидай мой Пупсик.

Брюнетка склонилась над сыном и чмокнула его в затылок пухлыми силиконовыми губами. Ребёнок поднял с земли гальку размером с куриное яйцо и швырнул его в море, в сторону ругавшего его мужчины.

— Аа-аа!! — заорал тот и нырнул в воду.

Вероника заметила, что вынырнул пострадавший в нескольких метрах правее, и, энергично гребя руками, стремительно удалялся от опасного места.

Любопытство, конечно, — порок, но куда без него-то? Вот и Веронику раздирало любопытство: почему мужчина так легко сдался, так быстро ретировался, почему он не дал сдачи (хотя бы словесной) этой силиконовой нахалке, после получения второго удара камнем? Видно ведь, что за крепким словцом он «в карман не полезет». Хотя, конечно, они «два сапога пара». Так рассуждала Вероника. Не удовлетворив своё любопытство и не найдя ответы на свои вопросы, она продолжала беззаботно лежать на коврике, подставляя своё белое, ещё не загоревшее тело косым, затухающим лучам солнца.

К вечеру в воде у берега стало особенно многолюдно. Под конец дня пляжная публика, уставшая от дневной жары, стремится ещё разок погрузиться в тёплые воды моря, в последний раз ощутить его нежные объятия.

А «Пупсик» продолжал бросать в воду камушки. Его молодая мама в красном бикини суетилась рядом и периодически кричала:

— Разойди-итесь! Не подплыва-айте! Здесь камушки летят! Береги-ись!

Вероника снова посмотрела на эту странную семейку. И тут она увидела то, на что раньше почему-то не обратила внимание. Рядом со знакомой уже брюнеткой стоял мужчина мощного телосложения, как говорят сейчас — качок. Вероника рассмеялась, ей всё стало ясно. Она поняла, почему так быстро удрал возмущённый потерпевший.

— Да-а, на такую гору мускулов не попрёшь хилым телом, — вслух рассмеялась Вероника и отвернулась от этой семейки. Они стали ей не интересны.

На западе ослепительное солнце уже наполовину утонуло в багряно-золотистых водах моря. Потянул свежий, лёгкий, бодрящий морской бриз. И, словно опомнившись, что день на исходе, засуетились, замелькали над водой белоснежные чайки. Вероника невольно залюбовалась их охотой: высмотрев добычу, чайка взмывает вверх

и, сложив крылья, камнем падает в воду. А ухватив в воде добычу, снова взмывает вверх, расправив свои большие крылья.

С закатом южного солнца стремительно наступает фантастический вечер, который снова магнитом притягивает своей таинственностью толпы отдыхающих. И весёлые волны, игриво набегая на берег, словно хихикая, шуршат прибрежной галькой.

Пернатый друг

Любите, любите друг друга, да и всех нас заодно, не остывайте, не отступайте — и вы будете так счастливы, что это просто чудо!

Е.Л. Шварц

Женя стоял у окна и наблюдал, как медленно, словно нехотя, всё падают и падают на землю крупные хлопья снега. Да и земли-то уже давно не видно: один снег. Второй снежный день подряд. Многоцветный мир за окном стал белым, чистым, как лист ватмана для рисования. На плече у Женьки сидел жёлтый с зелёной грудкой волнистый попугайчик Тоша. Полное имя его Антон или Антоша. Он живёт в доме второй год. Завести попугайчика — была давняя мечта Жени, и родители, зная об этом, подарили ему в прошлый Новый год эту пичужку с условием, что Женя будет ухаживать за ней.

Они быстро подружились, и всё свободное время проводили вместе. Тошка садился Жене на голову и перебирал волосы клювом, словно расчёсывал их, или не больно покусывал за ухо, шею или нос. Женя учил Тошу разговаривать — и небезрезультатно. Попугай гортанным голосом (совсем не птичьим) повторял слова, сказанные ему маленьким учителем. Заучив несколько слов, он повторял их, как заводной: «Тоша умный, Тоша умный… Спать, спать, спать… Хорошо тебе…» Вот и сейчас, сидя на плече, теребя мочку уха, он сообщал Жене:

— Тоша умный. Хорошо тебе.

— Почему мне хорошо, Антошка? — спрашивал Женя, поглаживая попугая по спинке и не дождавшись от него ответа, шутя, спросил у мамы:

— А в небе что, снега слишком много накопилось? А, может быть, небо продырявилось? Почему так много снега?

— Небо не может продырявиться. Небо — это воздух, — не поняв шутку сына, ответила мать.

— Мама, там нет места для воздуха, там один снег. Смотри, сколько его! А неба совсем не видно из-за него, — засмеялся сын.

Женя приоткрыл немного окно: совсем чуть-чуть, чтобы высунуть ладонь на улицу и поймать немного этого холодного пуха. Он наклонился вперёд, высунул руку из окна и пытался ухватить снежные хлопья, но снежок, коснувшись руки, моментально таял. Он всё дальше и дальше высовывал руку и, увлёкшись этим занятием, широко открыл окно, совсем забыв про попугая на своём плече.

Тошка вспорхнул, мелькнул в проёме окна жёлтыми крылышками и исчез в белой снежной пелене. Женя не успел ни позвать его, ни поймать, так быстро всё это произошло.

— Мама, мама… Он, он… — бессвязно повторял Женя и показывал пальцем в открытое окно. Слёзы градом посыпались из его глаз.

— Он там, мама, мамочка!

— Кто он? Кто там? Что случилось? — Мама подошла к сыну, обняла его и попыталась успокоить, не понимая в чём дело. Женя вырывался из рук, высовывался в окно и кричал:

— Он там, мама, бедный!

— Кто там, Женя? Зачем ты открыл окно? — Она хотела закрыть его, но сын схватил её за руку:

— Не закрывай, пожалуйста! Он сейчас прилетит, мой Тошенька.

— Тошка вылетел в окно? — наконец-то поняла мама. — Одевайся, пойдём его искать.

Одевшись, мать с сыном вышли на улицу. Женька продолжал плакать, размазывая слёзы по щекам.

— Женя, в какую сторону он полетел?

— Не знаю. Из-за снега не было видно, — всхлипывая, ответил он и решительно направился к деревьям на противоположной стороне улицы. Ноги по колени проваливались в рыхлый снег,

но казалось, что он этого даже не замечал. Ещё издали он звал: «Тоша, Тоша, Тошенька, где ты?»

Они внимательно осмотрели деревья. Попугая на них не было. На ветках лишь шапки пушистого снега.

Продолжая звать птицу, Женя всё дальше уходил от дома вдоль улицы. Он так решительно шёл, что бежавшая навстречу собака не захотела встретиться с ним и юркнула в проулок. Тошки нигде не было видно. Женя шёл и плакал, плакал и звал. Не отзывался, не садился на плечо любимый попугай.

— Тоша, Тошенька, где ты? — разрыдался в голос Женя и упал лицом в снег. Он лежал, плакал и совсем не чувствовал холода. Его маленькое сердце разрывалось от жалости к попугаю, который сейчас где-то замерзает, а он не может ему помочь.

— Тоша, Тоша, … — вновь и вновь кричал он в снежную пустоту.

— Женя, пойдем домой, скоро будет вечер. Мы не найдём Тошку, смирись. Ты уже совсем замёрз, — в который раз звала его мама.

Но Женя не чувствовал холода, он вообще ничего сейчас не чувствовал, кроме жалости к своему маленькому другу. Вдруг, совсем неподалёку от него, заорали и подрались две кошки. Женя машинально посмотрел в их сторону. Чуть в стороне от кошек что-то желтело. Он, что есть мочи, побежал навстречу этому жёлтому пятнышку. Когда подбежал, то увидел обездвиженное тельце своего попугая, а рядом на снегу валялись несколько жёлтых и зелёных пёрышек. Он снял мокрые от снега рукавички, бережно взял Тошу на руки, отряхнул с него снег, расстегнул куртку и засунул руку с попугаем под куртку поближе к теплу.

Когда подошёл к маме, то грустно и как-то совсем по-взрослому сказал:

— Я нашёл Антошку, но он, наверное, умер. Я взял его.

— Зачем? — спросила мама.

— Похоронить, — тихо ответил Женя и, молча, пошёл к дому, бережно держа попугая около своего тёплого тела, чувствуя холод маленького комочка.

Дома он положил Тошку в коробку и накрыл сверху тряпочкой. Настроения не было.

Мама звала ужинать, но Жене кушать не хотелось. Он сидел на диване, листал книжки с картинками, без интереса рассматривал их. Содержание этих книг он давно знал наизусть.

Вдруг, совсем рядом, Женя услышал:

— Тоша умный. Спать, спать, спать.

Женя вскочил с дивана, обвёл глазами комнату — никого. Наверное, послышалось, с грустью подумал Женя и снова сел на диван.

В тишине он услышал непонятные звуки, похожие то ли на постукивание, то ли на шуршание. Женя прислушался: звуки доносились из коробки. Он отдёрнул тряпочку и в тот же миг прямо на него, то есть на его голову полетел живой Тошка.

— Тоша, Тошенька, дорогой ты мой! Как я рад! Как я счастлив! Как мне было плохо без тебя.

Женя гладил своего маленького друга, прижимал к груди и повторял:

— Ты жив, Тошенька. Спасибо тебе.

Попугай привычно сел к нему на плечо и, словно понимая Женькину радость, произнёс:

— Хорошо тебе, хорошо тебе…

Безымянная

Юлька написала неровными и корявыми буквами на тетрадном листе:

15 декабря. Классная работа.

«Через два дня мой день рождения! Ура!» — неожиданно пронеслось в голове.

Она посмотрела на затянутое льдом окно, за которым едва просматривался весь запорошенный снегом школьный двор, окружённый такими же белыми, похожими на снеговики деревьями.

Юлька съёжилась, потёрла ладошкой руку, замёрзшую от близости холодного стекла. Убрала за уши непослушные пряди прямых волос и вздохнула. Нерадостные мысли роем полетели в Юлькину голову: «Сегодня утром мама сказала, что не будут отмечать мой день рождения, потому что заболела бабушка. Она сказала — неприлично веселиться, когда в доме больной человек. Бабушку, конечно, жалко, но ведь день рождения бывает только раз в году. И потом, она уже пригласила на свой праздник подружек. Нехорошо получается».

Глаза наполнились слезами, изображения за обледеневшим окном слились в одну колыхающуюся кляксу. Она с грустью подумала о своей трагичной судьбе. Да, да, Юлька была в этом уверена. Какому нормальному человеку придёт в голову мысль родиться скучной зимой да ещё в селе. Совсем другое дело — появиться на свет тёплым летом в огромном, шумном и, как ей казалось, весёлом городе.

Она вспомнила рассказы мамы о том, что в год её рождения навалило много снега. Наверное, совсем как сегодня. Толстым слоем снега были засыпаны все дома и улицы. Дороги не успевали расчищать, поэтому крошечную Юльку привезли домой в санях, запряжённых лошадью. «Первый раз ребёнок едет домой — и на лошади!? Какой позор!» — грустно думала Юлька. Совсем другое

дело в городе! Её привезли бы в разукрашенной разноцветными лентами и воздушными шарами легковушке.

У Юльки заблестели глаза, она заулыбалась во весь рот. Ручка неподвижно лежала на тетрадном листе. В классе было тихо. Все выполняли упражнение, заданное учителем. Никто и ничто не мешало ей предаваться и дальше своим мыслям о начале своей жизни на этой земле.

Она думала, какое же это большое событие — впервые появиться в доме. «Это чудо!» — размышляла она, зажмурив глаза, но сразу же нахмурилась. Всё торжество испортил её родной брат Матвейка, который старше её на целых два года. Маленькую Юльку впервые собирались положить в её собственную кровать-качалку, — качку, как называют взрослые первую кроватку для маленьких детей. В качке детей качают, укладывая спать. Поэтому её так и называют.

«И что же вы думаете? — вспомнила она рассказы взрослых. — Мой брат забрался в качку и не хотел из неё вылезать. Я, конечно, «возмутилась» и заорала на весь дом. После долгих уговоров Матвейка всё же согласился лечь на деревянную кроватку, а меня положили в мою качку. Но он же, наглый, часто залезал ко мне, и мы спали вдвоём».

Но это ещё ничего, хуже было, когда дело коснулось моего имени. Моя мамочка, как только увидела меня первый раз, так сразу же и назвала меня красивым именем Надежда. Она несколько дней так и называла меня: Наденька, Надюша... Очень ласково и красиво. Наверное, к имени Надя ещё тогда привыкла и я, потому что мне до сих пор оно нравится. Но папа, мой любимый папочка, взял и назвал меня Юлей. Теперь я Юлька. Бедная мама проплакала целый день, но так и не приняла моего нового имени. Я для неё теперь просто дочка. Она так и говорит: «Доченька, иди сюда» или «Дочка, помоги мне». Я — безымянная. Хорошо хоть, для друзей я Юлька. Но мне бы так хотелось быть Надеждой, Наденькой, Надюшей…»

Резко зазвонил звонок. Юлька вздрогнула.

— Всё, закончили писать и сдаём тетради, — громко сказала учительница Анна Ивановна. В классе все зашумели, загалдели. Юлька растерянно посмотрела на свой тетрадный лист, на котором по-прежнему было написано:

«15 декабря. Классная работа.»

В упражнении, заданном учительницей, нужно было переписать предложения и вместо точек вставить слова на выбор. Выборочные слова в алфавитном порядке были в конце упражнения. Юлька схватила ручку и быстро стала писать. Она успела написать только два первых предложения, вставила вместо точек первые два слова из списка и сдала тетрадь.

На следующий день Анна Ивановна пришла на урок русского языка очень весёлая. Она без видимой причины улыбалась и даже посмеивалась. Это было совсем не свойственно нашей строгой учительнице. Класс замер, в наступившей тишине все ждали развязки необычной ситуации.

Учительница положила на стол тетради. Весело посмотрела на учеников, с губ её срывалось что-то похожее на:

— Ха-а..., хи-и...

Она взяла верхнюю тетрадь из стопки, открыла её и, не называя фамилии обладателя тетради, прочитала:

— Громко чирикал а-а…, громко чирикал а-а-а…, громко чирикал а-а-а… б…

С Анной Ивановной творилось что-то странное. Она наклонилась над столом, словно не в силах была стоять ровно, и продолжала сквозь приступы смеха:

— В огороде созрел во…, созрел во-о…, в огороде созрел во-о… б…

Её щёки разрумянились, волосы растрепались. Никто ничего не понимал, но глядя на учительницу, все тоже захохотали.

Наконец Анна Ивановна взяла себя в руки, успокоилась и с улыбкой прочитала:

— Громко чирикал арбуз. В огороде созрел воробей.

Что стало с классом? Такого рёва и хохота Юлька ещё не слышала. Конечно, она сразу поняла, что это её тетрадь. Стало стыдно, но потом классный смех, как ветер, подхватил и её, обида и стыд куда-то пропали, и она почувствовала его доброжелательность. Она смеялась вместе со всеми, и было ей легко и весело.

А по пути домой из школы она думала: «Совсем неплохо, что меня зовут Юлькой. А мама... Она привыкнет к моему имени, потому что она меня очень любит, и я её тоже люблю».

Лекарка

Рассказ

Шурка шёл по деревенской улице босиком и пыль, приятным прохладным шёлком струилась между пальцами. Его ноги периодически подбрасывали к верху то попадавшиеся камушки, то палочки, то всякую другую дребедень, валявшуюся на пыльной деревенской дороге. Поэтому шел он не по прямой, а зигзагообразно. Было раннее утро. Косые лучи солнца медленно, будто лениво скользили по серым крышам домов и сараев, оставляя на них ровный серебристый свет, не выделяя и не останавливаясь на отдельных постройках. И только коснувшись капелек росы на листве деревьев и придорожной траве, солнечные лучики на секунду замирали и вдруг вспыхивали разноцветными красками.

Стадо коров ещё не проходило по улице, поднимая после себя клубы пыли и нарушая утреннюю тишину громким, протяжным мычанием. Поэтому воздух никем и ничем не потревоженный, ещё наполненный ночной прохладой, был свеж и ароматен.

Шурке не привыкать подниматься чуть свет. Вот и сегодня он встал вместе с мамакой ещё совсем затемно. Не позавтракав и,буркнув матери, что очень спешит по делам, стремглав выскочил из дома.

У него было пречудесное настроение и, негромко напевая недавно услышанную и понравившуюся ему песню: «Эх, яблочко куда ты катишься, ко мне в рот попадёшь — не воротишься…», он шёл, почти приплясывая от радости, которая так неожиданно свалилась на него.

Шурка шёл к своему другу Петьке. Сегодня тот уезжает с родителями на ярмарку в город и на целый день отдаёт Шурке своё

самое большое богатство — велосипедный обод. Взамен конечно Шурка должен будет вечером полить огурцы на Петькином огороде, но это такая малость по сравнению со счастьем — целый день быть владельцем обода.

— Вот пацаны обзавидуются, — думал он на ходу.

Откуда этот обод появился у Петьки, никто не знал, да и не было отродясь в деревне ни у кого велосипедов. Сам же он никому ничего не рассказывал. Одним словом — тайна. Петька был жадным и никому не давал свою драгоценность, сколько ни проси. А тут подвернулся такой случай — родители собрались на ярмарку, а Петьку не брали по причине, что вечером ему нужно полить огурцы, а днём присмотреть за хозяйством. Но как же хотелось на ярмарку, где полно всякого люда, весело и интересно. Шурка, как лучший друг подрядился помочь, но с условием, что Петька даст ему обод на целый день. Как же не хотелось отдавать обод, но желание поехать на ярмарку перевесило.

И вот Шурка шёл по дороге, держа в одной руке старый, ржавый, без спиц, изрядно помятый и ободранный велосипедный обод, а в другой аккуратно оструганную палочку. Он крутил в воздухе этой палочкой в такт напеваемой песне. Лицо его сияло. И пусть достался он совсем не по Петькиной доброте, пусть. Всё это было неважно.

— Какой я молодец! — хвалил себя Шурка, — Подумаешь, присмотреть за хозяйством и полить огурцы. Тьфу! Это раз плюнуть. — И он со знанием дела плюнул слюной через щель между передними верхними зубами, и плевок, просвистев в воздухе метра два, плюхнулся на дорогу, завернулся в серую, вязкую пыль.

Так он и шёл, крепко прижимая к груди обод. Перед глазами уже стояла картина, как он, управляя этой отструганной палочкой, покатит обод по дороге, поворачивая им то вправо, то влево. Главное держать палочку на ободе, не отрывая. Тог-

да обод не упадет, а будет катиться всё быстрее и быстрее, и Шурка будет едва поспевать за ним. А следом в клубах серой и липкой пыли будут бежать все деревенские мальчишки с криками и гиканьем.

— Как здорово! — вслух сорвалось с губ.

Он засмеялся, вспомнив, как однажды он так же бежал за Петькой, а гуси, пасшиеся на траве у дороги, напуганные шумной ватагой ребят, разлетались в разные стороны, гогоча и хлопая крыльями. И только толстый серый гусак, вытянув шею и шипя, ещё долго бежал следом за ребятами и больно щипал клювом за пятки.

Шурка с гордостью подумал, что сегодня гусак не будет щипать его пятки, потому что он будет бежать за ободом первым. Так незаметно в мечтах он дошёл до своего дома. Ещё возле калитки Шурка услышал громкие причитания матери. Мечты моментально улетучились и, он стрелой влетел в дом.

В полутьме комнаты он не сразу разглядел скорчившееся на лавке под образами тельце Витьки, который то тихо стонал, а то громко выл.

— Погодь, Витяня, потерпи миленький, — суетилась вокруг него мать. Её ссутуленное тело сейчас казалось ещё более худым и маленьким.

Увидев в проёме дверей старшего сына, она обрушилась на него:

— Где ты ходишь? Витька ужо умирает, а ты окаянный ушёл и с концами. Немедля беги к лекарке бабке Лукерье. Знаешь поди где она проживает?

— Да знаю мамак, знаю, не впервой чай. Последний дом у околицы. А что случилось-то?

— Витька ужо опять животом мается, горемышный. Кабы знать, как подсобить. Жа-а-алкенький ты мо-ой сыно-очек! — нараспев затянула тонким голосом мать. Она плюхнулась на колени

и, задрав голову вверх к иконам, быстро и неистово стала креститься, постоянно громко спрашивая и прося:

— Господи, за что?.. Помоги Господи чаду моему Витяне...

Она резко наклонилась вперед, ткнувшись лбом в деревянные половицы, задрав кверху задницу. До Шурки доносились отдельные, отрывистые слова:

— Иисусе Христе… Богородица… раб божий… Святые угодники…

Так же резко выпрямившись, мать гневно посмотрела на сына и неожиданно громко, визгливо закричала:

— Ты еще стоишь, окаянный? Немедля беги!

Шурка от неожиданности отшатнулся назад, зацепился ногой за порожек и со всего маху рухнул в тёмные сени. При падении обод, который он всё ещё прижимал к груди, вырвался у него из рук и полетел по воздуху куда-то в темноту. Раздался звон разбитого стекла и дребезжащее падение обода.

Но Шурка уже не слышал ни сердитых криков матери, ни стонов брата. Он бежал по единственной деревенской улице и пыль уже не струилась прохладой между пальцами. От постоянной ходьбы босиком, кожа на подошвах была толстая, как кирза. Поэтому он не обращал внимания ни на острые камушки, ни на сучья веток, попадавшиеся на дороге. Да и не до них было сейчас. Он бежал, а следом бежали, наверное, все деревенские собаки. Они громко лаяли и без злобы, а больше играючи хватали его за штаны и пятки. Пытаясь избавиться от собак, он пинался и брыкался, как норовистый жеребёнок.

— У твари проклятые, сволочи, шельмы окаянные…

Шурка ругался на чём свет стоит. Благо в деревне было у кого учиться. Улица была безлюдной, поэтому он не стеснялся в выражениях.

Но вот, наконец, собаки отстали. Вдали показалась околица и изба бабки Лукерьи, огороженная плетнём, который местами по-

валился, а местами и вовсе от времени сгнил.Старая изба покосилась на одну сторону. Соломенная крыша зияла чёрными дырами, кое-где прикрытые сверху такой же старой и чёрной ветошью.

Шурка изрядно устал и запыхался. Он шёл к избе, свернув с дороги по узкой и едва заметной в густой и высокой траве тропинке. Он шёл и смотрел на два окна Лукерьиной избы, которые, как ему показалось, тоже смотрели, но не на него, а в разные стороны своими глазницами с бельмами. Когда он подошёл и потянул дверь за щеколду на себя, то она оказалась не запертой и легко открылась. Шурку обдало кислым, спёртым воздухом. Он не стал заходить внутрь, а с порога позвал:

— Бабка Лукерья, ты дома?

Внутри дома что-то скрипнуло, стукнуло. Послышались шаркающие шаги. В проёме двери показалась чёрная и лицом, и одеждой старуха.

— Чаво надо? — недружелюбно спросила она.

— Меня мамака прислала. Витька сильно животом мается. Скорее собирайся.

— Скоро сказывается, да не скоро деется, — скрипуче ответила Лукерья и продолжила:

— Ты кто будешь-то?

Она близоруко прищурила глаза, всматриваясь в лицо незваного гостя, отчего её лицо стало похоже на весенний гриб сморчок, который так же, как и Лукерья чёрен и морщинист.

— Да Шурка Иванов я, бабка Лукерья. Пойдём быстрее. Витька умирает.

— Господи, прямо уже и умираить? Впервой разве? Небось опять чаво нажрался? — сердито прошелестела старуха, шамкая беззубым ртом и тут же спокойно добавила:

— Ну, коли надо идтить, то пойдём. Снадобье только прихвачу.

Лукерья не спеша, такой же шаркающей походкой пошла вглубь дома.

Из темноты комнаты, как из погреба, выскочила худая и такая же чёрная, как её хозяйка кошка. Шарахнувшись от Шурки, она убежала за угол избы. Провожая взглядом кошку, он только теперь увидел огромного, как телёнок пса. Пёс лежал поодаль избы, лениво положив голову на передние лапы, и с любопытством следил за гостем. Шурка сразу заметил, что он без привязи. Пёс глухо зарычал, оскалил зубы и медленно стал подниматься во весь свой исполинский рост.

Шурку, как ветром сдуло с крыльца, и он очутился внутри бабкиной избы, которая была без сеней, поэтому он сразу попал в комнату. Комната оказалась очень маленькой с серыми давно небелеными стенами. Большую часть комнаты занимала печь. Между окнами стоял стол и придвинутая к нему лавка. Вот и вся обстановка комнаты. В углу под потолком несколько закопчённых икон, на которых от копоти уже и не просматривались лики святых. Чуть поодаль на стене в рамке несколько пожелтевших фотографий.

В проёме между стеной и печкой что-то шелестело и позвякивало. Временами вздыхала, кряхтела и охала старая лекарка.

— Большая у тебя печь, бабка Лукерья. Прямо не печь, а печище.

— Да, милай, я всеми бита и об печь бита, только печью не бита. Коли вру, так дай бог хоть печкой подавиться, — сердито ворчала Лукерья и, как казалось Шурке совсем невпопад. Однако она продолжала:

— А вот коли баба с печи летит, так семьдесят семь дум передумает. Да, печь, как мать родна, внучек, — и уже добрым скрипучим голосом сказала:

— На печи всё красное лето. Бывало сидишь у печи да слушаешь людские речи. Добрая-то речь возля тёплой печки. Вот так

и жизнь пролетела. А таперича лежу на печи, да грею свои плечи. Вот так-то. Эх-хе-хе,.. — грустно закончила Лукерья, выходя из-за печки с узелком в руках. — Ну, пошли, милай, пошли. Поспешать надобно...

Лукерья шла медленно, согнувшись в пояснице и тяжело опираясь на клюку. Казалось, что земля притягивала к себе ее тело — изболевшее, и много чего перенёсшее за свою длинную, трудную жизнь.

По дороге, пока шли домой Шурка спросил:

— Бабка Лукерья, зачем тебе такая большая собака?

— Правда твоя, не нужна мне она. Приблудилась весной. Куды её таперича девать, сама не знаю. Живёт, не уходит. А чаво мне охранять-то? Стены одни да печь. Вот и всё моё богатство. Отродясь дверь не запирала. Пусть живёт. Может, ты куды пристроишь?

Шурка ничего не ответил, а Лукерья продолжала:

— Да, внучек, как жизть-то пролетела, а как живо все помню, будто намедни все и было. И муж был, и нету горемычного. А какой мужик-то был — расторопный да проворный. А работник какой! Таких таперича и нету мужиков-то. Вместе с сыночком в Гражданскую войну сгинул, как и не было их вовсе. Кабы хоть кресту поклониться, так и креста нетути. Эх-хе-хе.

Лукерья остановилась, вздохнула, потом перекрестилась и совсем уже обречённо продолжала:

— Живой не без места, мёртвый не без могилы. Эх-хе-хе... — снова вздохнула Лукерья.

Шурка всю дорогу молчал, а тут не выдержал:

— Бабка Лукерья, что ты всё заладила о покойниках, да о могилах. Аж жуть берёт.

— Да, милай, живому именины, а мёртвому помины. Покуда жив человек, голодной смертью помирать не станя. Пойдём вну-

чок лечить твово братца. Авось и заработаю чаво на обед. Поспешать надобно.

Но поспешать у Лукерьи не получалось. Она шла еле переступая больными ногами, переваливаясь с одной ноги на другую, как утка.

К полудню они наконец-то доплелись до места. Когда вошли в дом, то Шурка не сразу узнал мать. Лицо её распухло от слёз и было таким же чёрным, как у лекарки. Витька лежал на лавке навзничь и был весь белый, как недавно побеленая матерью печка. Он уже не стонал, а только хрипел.

Лукерья сразу будто помолодела лет эдак на двадцать. Движения её стали быстрыми, речь то отрывистая, то тягучая.

Она подошла к Витьке, ткнула пальцем в живот и задумчиво сказала:

— Тугой однако, — и тут же быстро заговорила:

— Прасковья, топи печь, будем чугунок греть. Чугунком эту болезть и выньмем.

И обратившись к Витьке, продолжила:

— Не боись, выньмем эту окаянную болезь-то.

Шурка забился в дальний угол комнаты. Ему было страшно. Он издали наблюдал, как мать возилась у печи, а лекарка хлопотала возле Витьки. Время от времени она выпрямлялась и, как генерал покрикивала то на мать, то на Шурку. Печка никак не хотела разгораться. Весь чад и дым валили в комнату. Обессиленная мать металась от печки то к Витьке, то к Лукерье, пытаясь всем помочь, но только мешала. Наконец-то печь растоплена, и Лукерья велела Шурке достать из печи горящую головешку и окурить ею комнату.

— Окури хорошо, аккурат все уголочки обойди. Надобно выгнать нечистую, — командовала лекарка и громким голосом продолжала:

— Дом пахнет дымом, а гроб ладаном.

— Акстись, бабка Лукерья, что ты несёшь-то? Какой гроб? Свят, свят, свят! — запричитала испуганно мать и быстро стала креститься на иконы.

Шурке от этих слов стало совсем плохо, голова закружилась, глаза наполнились слезами от дыма и от жалости к Витьке. Ничего не видя перед собой, он вслепую тыкал головешкой в разные стороны. Головешка трещала и больно стрелялась угольками на оголённые Шуркины руки и ноги. Слезы градом лились из глаз. Шурка зажмурился и ткнул головешкой прямо в бабку Лукерью.

— Шурка, обалдел, небось! Хватя уже, дом подожжёшь окаянный, — заворчала лекарка, продолжая мазать маслом вздутый Витькин живот.

Мать стояла рядом и, отворачиваясь, смахивала слёзы краешком передника. Тоненьким голосом она тянула:

— Терпи, Витяня. Терпи, мила-ай. Родненький мой, Витя-я-я-нечка…

Лекарка между тем взяла в руки нагретый в печи чугунок и со словами: «Ничего, родился — огнём крестился, состарился — пеленами повился» и плюхнула чугунок на голый, намазанный маслом вздутый розовый Витькин живот. Витька заорал, задрыгал руками и ногами. Но тепло, которое исходило от чугунка, постепенно успокоило его.

Мать и бабка Лукерья сидели по обе стороны от больного и наблюдали за ним. Шурка, вытянув шею из угла смотрел, как чугунок втягивал в себя Витькин живот. Ему было странно, что Витька молчит. Ему казалось, что это очень больно. Шурка всё больше съёживался, подтягивая колени к самому подбородку.

— Так и живота совсем не останется. Какой храбрый Витька, — подумал он и сглазил.

Витька начал плакать, лекарка и мать успокаивали его и просили потерпеть ещё немного.

Однако он плакал всё громче и громче. Когда же стал орать во всё горло, мать попросила:

— Лукерья, снимай ужо. Небось болезнь вышла. Больно чай ему-то.

— Ишь ты, больно ему. Жрать зелёные ранетки не больно, а лечиться больно. Куды там, терпи! — генеральским голосом приказала лекарка.

Но Витька терпеть не хотел и орал всё громче. Шурке было невыносимо жалко брата, и неожиданно он подскочил к бабке Лукерье и стал кричать на неё.

— Как ты смеешь! Снимай немедленно!

— Ах, немедля. Прямо щас и сыму, глядите вы, — язвила Лукерья.

Тогда Шурка приблизился вплотную к лекарке и гневно посмотрел в её насмешливые глаза. Мать, которая до этой минуты покорно исполняла все приказания Лукерьи, поддержала своего старшего сына, и бабка Лукерья сдалась. И уже миролюбивым голосом, будто ничего и не произошло сказала:

— Ладно, не орите, сыму уже.

Она подошла к Витьке и стала затискивать свой скрюченный ревматизмом палец между чугунком и животом, пытаясь пустить воздух внутрь чугунка, что бы он отсоединился от живота. Но чугунок прилип к животу намертво.

Витька продолжал орать так, что у Шурки закладывало уши. Но грязный или чёрный от сажи палец лекарки никак не хотел пролазить в чугунок, который всё тянул и тянул в себя бедный Витькин живот. Шурке уже казалось, что не только живот, но и весь Витька с руками и ногами скоро залезет в этот проклятый чугун.

Шурка стоял рядом с лавкой, на которой лежал многострадальный брат, и его глаза уже не плакали, а от ужаса раскрывались всё шире и шире. Он не мог говорить и только наблюдал,

как мать, заламывая руки в бессилии, бегала вокруг с причитаниями:

— Ты уже чаво, старая… Ты чаво, сымай немедля. Щас я тебя колдунью старую задушу. Сымай, говорю! — распалялась всё больше мать.

— Милая, щас… милая, щас, — бормотала бабка Лукерья и всё тыкала и тыкала свой чёрный палец под чугунок.

Но чугунок точно приклеился и покидать живот никак не хотел.

— Шурка, беги за дедом Спиридоном, — крикнула мать в отчаянии, едва не теряя сознание.

Оцепенение мгновенно слетело с Шурки, и он помчался что было силы. Благо, что дед Спиридон жил по соседству и на эту минуту находился дома. Долго объяснять ситуацию Шурке не пришлось. Дед Спиридон понял всё с первых же сбивчивых слов. Глаза его сердито сощурились, брови хищной птицей опустились на самые веки, губы побелели. Он молча вышел из дома, в дровняке взял топор и стремительной своей походкой — головой вперёд — быстро пошёл по улице. Ноги у него, как всегда не успевали за стремительностью головы. Он шёл, рассекая воздух седой, почти лысой головой, широко размахивая топором.

— Наверное, он хочет убить бабку Лукерью, — пронеслось в голове у Шурки. Он еле поспевал за дедом.

— Ну и поделом ей. Лекарка называется. Пришла, а лечить не умеет. Вот сейчас дед Спиридон ей покажет… — рассуждал на ходу Шурка. О том, что именно дед Спиридон должен показать бабке Лукерье, он не задумывался. Но ему очень хотелось как-то наказать лекарку, которая, по мнению Шурки, мучила брата.

— Покажи, покажи ей, дед Спиридон, — в спину деду кричал Шурка. Он торжествовал. Ему хотелось отомстить лекарке за Витькины страдания.

Первым в комнату влетел весь взъерошенный, красный и запыхавшийся дед Спиридон. Его сердитые брови то поднимались на лоб, то опускались вниз. Отчего казалось, что глаза стреляли искрами.

— Лукерья, ты не лечишь, а в могилу мечешь, — гневно прорычил он с самого порога, размахивая топором и направляясь в сторону Лукерьи, которая колдовала вокруг Витьки.

«Вот сейчас он грохнет её!» — протискиваясь вперёд, подумал Шурка.

Бабка Лукерья резко выпрямилась, лицо её из чёрного вдруг стало белым. В глазах ужас и страх. Мать, его маленькая и хрупкая мамака вдруг встала впереди Лукерьи, стрельнула сердитыми глазами на деда Спиридона:

— Опомнись, Спиридон, — вдруг громко заговорила мать, растопыря руки, загораживая ими бабку Лукерью.

Шурка растерялся. С одной стороны он увидел хотя и старого, но сильного мужчину, а с другой стороны двух беззащитных женщин, а между ними голый Витька на лавке. Ему всех стало жалко и от бессилия что-то изменить, он заплакал.

Но дед Спиридон решительно оттолкнул рукой мамку и бабку Лукерью в сторону. Подошёл к оравшему во всё горло с чугунком на животе Витьке. На мгновение дед остановился, глянул на Витьку сердитыми глазами, потом на чугунок, поднял руки с топором кверху и замахнулся.

Шурка зажмурился.

— За что Витьку-то? — пронеслось в голове.

Он открыл глаза, хотел схватить деда Спиридона за руку, но в следующий миг услышал и увидел, как топор опускается к чугунку и не сильно бьёт его обухом по боку. Слышится звон удара топора об чугун. А в следующий миг осколки чугунка посыпались на пол.

Витька сразу замолчал. У Шурки подкосились ноги, и он в изнеможении плюхнулся на пол. Мать облегчённо вздохнула.

— Ну вот, кажись и вылечился, — спокойно, как ни в чем не бывало, сказала бабка Лукерья.

— Да, дурака учить, что мёртвого лечить. Это я о тебе Лукерья, — уже спокойно, насмешливым голосом ответил Спиридон.

Лекарка же сделала вид, что не расслышала насмешку Спиридона и продолжала:

— Пелагея, дай хотя бы яичек. Давеча бесплатно тебя лечивала. За два раза ладно уж десяток яичек хватя.

— Шура, яйца там в сенях в кошёлке, принеси. Спасибо тебе, бабка Лукерья, за подмогу и тебе, дед Спиридон, за то, что ужо вовремя ты подоспел.

Мать засуетилась по комнате, лекарка осторожно перекладывала яйца из кошёлки в свой узелок.

Дед Спиридон сидел у лавки уже накрытого одеялом Витки и гладил его мокрые от слёз и пота волосы и щёки, к которым постепенно возвращался румянец.

Немного погодя, когда Витька убежал за сарай по нужде, дед Спиридон крякнул, погладил рукой свой широкий подбородок и, повернувшись к Пелагее сказал:

— Как же так, Пелагея? А кабы загубила Витьку-то? Чай тридцать второй год на дворе, а ты — лекарку в дом. Дохтурша вон в районе есть. Сказала бы. Запряг бы Маечку и отвёз бы Витьку к ейтой дохтурше. Ай, Пелагея, Пелагея. Ума у тебя нет.

— Шибко ты умный, дед. Сам давеча с чирём к бабке Лукерье ходил.

— Так то чирей, а то живот. Надо понимать, Пелагея.

— Всё обошлось, дед, и слава Богу. И спасибо тебе за помочь. Иди с Богом. Дел полно. Некогда лясы точить.

Вечером Шурка сидел у окна и смотрел, как струи дождя лижут оконное стекло. Дождевая вода во дворе сначала образо-

вала лужи, потом эти лужи превратились в море, а потом вода огромной речкой потекла на улицу, образовав там всемирный потоп. Так размышлял Шурка под мирное Витькино посапывание на печке. А ещё он думал: «Как хорошо, что все остались живы и здоровы. Если не будет бабки Лукерьи, то кто же будет лечить людей в деревне? Нет, пусть живёт. Да и не виновата она.

— Витька сам наелся зелёных ранеток в саду у Степаниды.

За всеми этими хлопотами Шурка совсем забыл про велосипедный обод, который валялся где-то в пыльных сенях. Да это и не важно, зато не нужно идти поливать Петькины огурцы. Как говорят, не бывает худа без добра.

Разговор с начинающим писателем

Юмористическое эссе

Уважаемый начинающий писатель, если ты не возражаешь, я назову тебя — «Новичок». Не пугайся, пожалуйста, я вовсе не сравниваю тебя с ядовитым веществом, которое в последнее время приобрело удивительную мировую популярность, благодаря своей суперъядовитости. Ещё раз повторяю, это совершенно не относится к тебе, а вот к писательству имеет очень даже прямое отношение. Яд и боль — тесное сочетание. Русский прозаик, публицист, критик, философ Александр Иванович Герцен сказал о писателях: «*Мы вовсе не врачи — мы боль*». А знаешь ли ты, что все люди на планете делятся на две категории: писатели и весь остальной народ. Ты не согласен? Конечно, ты не согласен и готов вступить со мной в спор. Я принимаю твой вызов и постараюсь доказать свою правоту, а уж получится это у меня или нет — судить тебе. И в помощь себе я призову замечательных, талантливых и великих писателей.

В наш спор вступает немецкий прозаик и эссеист, великий писатель 20-го века Томас Манн. А сказал он следующее: «*Писатель — это человек, которому писать труднее, чем остальным людям*». Как тебе такое противопоставление писателя остальным людям? Так уж и быть, далее я приведу тебе примеры, раскрывающие особую сущность писателя.

Поговорим о немыслимых условиях, при которых иногда приходится писать. Представь, какого-то писателя пригласили на юбилей или другое застолье, где «рекой» льётся горячительное, и под влиянием оного все люди становятся друзьями и братьями, а в результате — вольность в поведении и выска-

зываниях. Тут и наступает «пир» для писателя. Перлы летят со всех сторон, успевай их только «перлить», а не то улетят и не поймаешь. На память надеяться — напрасный труд, всё вылетит, как в трубу. Срочно нужно записать, а где? За столом во время пиршества неприлично, а ещё хуже — могут неправильно понять твою творческую душу. Ещё английский писатель и критик Мартин Эмис предупреждал: «*Кто-нибудь всегда смотрит из-за твоего плеча, как ты пишешь. Мать. Учитель. Шекспир. Бог*». Ну, Шекспира и Бога мы в расчёт не возьмём, а вот любопытство простого обывателя не знает границ. Выход один: блокнот, ручка и ... туалет. «Фи..., как не романтично и ужасно», — скажешь ты. А я с тобой не соглашусь. Когда-то польский поэт, философ, писатель-сатирик Станислав Ежи Лец сказал: «*Я пишу кровью из носа*». Вот это ужас, если, конечно, воспринимать эти слова в буквальном, а не в переносном смысле. А тут всего-то туалетная вонь, ерунда. Одна забота: не объявились бы срочные желающие сменить тебя на писательском троне, пока ты судорожно радижируешь крылатые выражения гостей юбилея. Я умышленно употребляю слово радижировать (фр. rediger, от лат. redigere) вместо аналогичного ему — редактировать. Как-то буква «Ж» в середине слова более уместна данному укромному заведению. Ну, давай не будем строгими судьями. В конце концов, каждый пишет, как умеет, а вдохновляется уж, как придётся и где придётся. Русский и американский писатель Александр Генис как-то образно высказал такую мысль: «*Писателю спокойно живётся только на минном поле, которое для него постоянно обновляет общество*». Скажи, дорогой мой начинающий писатель, кому ещё из живущих людей вольготно пишется в туалете и вольготно живётся на минном поле? А вот образная эта мысль или нет — судить тебе.

Да, где только не приходится работать писателю. Вдохновение может накрыть творческого человека в любом месте, где и не ждёшь. Сидит, предположим, пишущий человек на собрании, сам из себя серьёзный, слушает выступающих, вовремя хлопает

в ладоши и вовремя голосует. Но мысли его витают где-то далеко, совсем не на собрании. Несколько дней он безуспешно пишет и чёркает, пишет и чёркает один и тот же рассказ. Нет, не получается, не выстраивается он в безупречную сюжетную линию. И, вдруг, хлоп ... — нежданно-негаданно явилось оно: вдохновение. Рассказ быстро и неожиданно написался в голове, всё идеально и даже лучше, чем было задумано ранее. Восторг! Торжество! От радости он забывает, что сидит на собрании, толкает соседей локтями, громко всем объявляет: «Всё, я нашёл! Наконец-то я нашёл». Люди вокруг засуетились, зашептались: «Что нашёл? ... Кто нашёл? ... Покажите нам! ... Где нашли? ...» Гул волной покатился по залу. Кто-то вскакивает с места и требует, что бы ему тоже показали это найденное. Собрание сорвано. Писатель, пользуясь суматохой, незаметно выскальзывает из зала и бежит домой писать, родившийся на собрании рассказ. Как тебе такой образ жизни? Хотя, американский сценарист, писатель Майкл Джозеф нашёл выход: «*С авторами поладить легко — если вы любите детей*».

Русский поэт, издатель, друг Пушкина, Антон Антонович Дельвиг писал: «*Цель поэзии — поэзия*». Вот так однозначно и скупо. Как тебе такое объяснение цели поэзии? Совсем по-другому о поэзии пишет поэт и драматург Иосиф Бродский: «*Поэзия это не* «*лучшие слова в лучшем порядке*», *это — высшая форма существования языка*». (Это был ответ Иосифа Бродского на слова Самюэля Кольриджа: «*Проза — это слова в наилучшем порядке, а поэзия — наилучшие слова в наилучшем порядке*».)

Да, Муза — капризная дева. «Лучшие слова, в лучшем порядке» — хлопотно всё это. Да ещё и приходит она (Муза) без предварительного звонка и предупреждения. Представь, сидит себе дама-поэтесса за столом и трапезничает. И, вдруг, хлоп, в голове, то есть в мозгу поплыли «лучшие слова» в не совсем лучшем порядке. Мозги напряглись — нужно выстраивать эти «лучшие слова» в достойный порядок. Трапеза в сторону, рабочий стол, ручка или компьютер — и вперед к цели, за поиском «лучшего поряд-

ка» к «лучшим словам». И неизвестно, где тебя это накроет — срочно за работу. Муза непредсказуема, может обидеться и уйти. А потом жди-пожди, когда она соизволит навестить снова. Вот и приходится даме-поэтессе, пользуясь приходом Музы, искать укромные уголочки, например, в ванной комнате, где закрывшись на запор, чтобы не мешали домочадцы, выстраивать «лучшие слова» в «лучшем порядке». Видишь, как всё это не просто. Очень интересно о писательстве высказался американский писатель Пол Теру: «*Писательство — приятная игра на нервах*». Ну, хорошо, если на своих, а если на нервах окружающих, на нервах тех, кто не понимает, что такое писательство? Хорошо ещё, когда не понимает, а если и понять не хочет?

У каждого пишущего человека (Я не исключаю даже писак, которые строчат жалобы на своих соседей, сослуживцев, членов семьи и других людей, с которыми их сталкивает жизнь.) внутри есть убеждённость, что он писатель. У одних эта убеждённость глубоко-глубоко спрятана, где-то там, за кишками и еле-еле теплится. Это даже не убеждённость, а скорее надежда, что его писательская сущность из скромного укрытия наконец-то вылетит и удивит всех своей красотой и величием. Это люди, которые пишут, как говорят «в стол». Но за внешней скромностью и неуверенностью, они не лишены амбиций. Однако, руководствуясь крылатой фразой английского литературного критика Сирила Конноли «*Лучше писать для себя и потерять читателя, чем писать для читателя и потерять себя*», они тихо пишут, складывая рукописи аккуратными стопками.

У других она (убеждённость) щекочет в бронхах и горле, норовит выскочить, а выскочив, оглушает всех новостью: «Вот он — я, я родился, а вы не знаете и не подозреваете о моём таланте и гениальности!». Уже упомянутый ранее Станислав Ежи Лец о таких писателях сказал следующее: «*Литераторы (обоего пола) слепы, как родители: они не отличают своих выкидышей от удавшихся отпрысков*». Такие пишущие люди очень плодовиты, они напоминают фокусников в цирке, которые вытаскивают из своего рта

километры лент. Хотя стоит отметить их отменную работоспособность и трудолюбие. И, скорее всего, у них не всё ещё потеряно. Наверное, о таких писателях сказал всё тот же Станислав Ежи Лец: «*Иные писатели напоминают мне берлинских дамочек, которые, приставая к вам ночью на улице, мурлыкают по-кошачьи: «Я такая неукротимая...»*.

И, наконец, третья категория пишущих людей, в чью убеждённость, что он писатель, а не маратель бумаги, верят все, даже те, кто никогда его не читал. Пример: не читая классика, мы все убеждены, что он гениальный писатель. И всё-таки, почему же простой обыватель становится писателем? На этот вопрос хорошо ответил английский писатель и актёр Квентин Крисп: «*Есть три причины, по которым становятся писателем. Первая: вам нужны деньги; вторая: вы хотите сказать миру что-то важное; третья: вы не знаете, чем занять себя длинными, зимними вечерами*». И, несмотря на то, что «*Жизнь чаще похожа на роман, чем наши романы на жизнь*», как сказала когда-то французская писательница 19-го века Жорж Санд, определённая часть человечества кладёт на алтарь отведённого ему жизненного пути часы, дни, месяцы и годы, потраченные на кропотливый писательский труд, без претензий на вознаграждение.

Дорогой молодой писатель, неважно, кто выиграл в нашем споре. Всех пишущих людей объединяют книги, которые, как и люди, имеют свою судьбу. Великий русский писатель Лев Николаевич Толстой замечательно сказал: «*Главное свойство во всяком искусстве — чувство меры*».

Содержание

От автора 5

Орден славы 7

Один год до Победы в письмах 14

Новая жизнь командира 23

Борщ с пампушками 30

Шторм 45

Голубые купола 50

Сюрприз 61

Знаток любви 68

Они живые 77

Место под солнцем 82

Пляжная история 87

Пернатый друг 91

Безымянная 95

Лекарка 99

Разговор с начинающим писателем 113

ИВАНЧЕНКО ТАМАРА АЛЕКСАНДРОВНА

ГОЛУБЫЕ КУПОЛА

Сборник рассказов

В авторской редакции
Вёрстка — *В. Анистратова*
Дизайнер — *И. Сиренко*
Директор издательства — *А. Береговой*

Издательство Литературного фонда России «Донской писатель»
344000, Ростов-на-Дону, ул. Шолохова 1
т.т. 8-918-599-67-51
donpisatel@yandex.ru

При участии ХПМТП «Орфей»

Подписано в печать 09.08.2021 г.
Объем 7,5 у.п.л. 120 стр. Бумага офсетная.
Обложка Лён 4+0, склейка биндер
Тираж 300 экз. Гарнитура: Times New Roman

Ростовские региональные отделения
Литературного фонда России
Союза писателей России

Издательство «Донской писатель»

Всем авторам, а также юридическим лицам:

– издание книг, буклетов, журналов любых форматов, объёмов и оформления

– дизайн обложек;

– редактирование и корректура текстов;

– консультации известных донских прозаиков и поэтов;

– рецензирование рукописей;

– иные полиграфические услуги;

Высокое качество издательских и полиграфических работ – низкие цены – точные сроки.

Издательство «Донской писатель» с апреля 2015 года начало выпуск малоформатных и низкобюджетных (по минимальным ценам) книг из серии «Библиотечка журнала «ДОН_новый» (формат А-6, тираж 200 экз. стоимость в пределах 6500 рублей).

С условиями нашего с Вами сотрудничества Вы можете познакомиться по телефонам: 8-918-599-67-51;8-916-591-10-75

e-mail: donpisatel@yandex.ru